

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

Владимир Алейников

Ян Бруштейн

Александр Редьков

Илья Иослович

Елена Литинская

Елена Крюкова

Александр Гиневский

ББК 84(2Рос=Рус)
С 311

Старые фотографии: сборник / Алейников В. и др.; ред.-сост. Наумова М.О. – Красноярск: ООО "День и Ночь", 2013. - 266 с. (Серия: «ДиН-библиотека»; Приложение к журналу «День и Ночь»)

© ООО «Редакция литературного
журнала «День и Ночь», 2013
© Владимир Алейников
© Ян Бруштейн
© Александр Редьков
© Илья Иослович
© Елена Литинская
© Елена Крюкова
© Александр Гиневский

БОЛЬШАЯ АЛЛЕГОРИЯ

Архаровца шустрого бредни,
Пестреющий толками торг –
И дебрями сплетни последней
Возвышенный тянется ток.

Ну что потакать не устанет,
Зажжётся, как свет из-за штор?
Придымленными потолками
Отрезан от сказки спор.

Аршинник мошеннику дело
Поручит во власти светил –
Ну что его нынче заело?
Как будто аршин проглотил!

Баклушничать станешь – устанешь,
Наушничать – ложь повторишь, –
Так, может, совсем перестанешь,
Невесту отдашь за бакшиш?

Уж как её долго балуют
Во власти сурьмы да румян!
Беспутицу вспомнят былую,
Да враз прохудится карман.

Она ни за что не поверит,
Заплачет она, осердясь,
Да платицем бальным примерит
Окошек предзимнюю вязь.

Присядет она, приодета,
Разрушит свое забытьё,
Пройдётся, как в танце Одетта, -
Вендетта любимцу её!

Не трудно ли шалам цыганским
Бахромчатым садом цвести?
Не окнам ли венецианским
Цианистый калий нести?

Не легче ль сказатья способным,
Ловить восклицания флейт,
Когда венценосным особам
Наскучит внимания шлейф?

Не проще ль казаться тихоней,
Вином угощаясь, как скиф,
Когда приготовлены кони
Вершителям судеб людских?

Но что изречёт ариозо,
Кому тубероза кивнёт,
Когда под угрозой курьёзы
И в сердце заноза кольнёт,

Когда, как росток многократный,
Проклюнулся в кольцах берилл
И вальса рисунок приватный
О многом для нас говорил,

Когда у привратников строгих
Похищен несбыточный ключ –
И льются ручьи на дорогах,
И выющийся прячется луч,

Когда, очарован бесчинно,
Безвинной охвачен тоской,
Любуешься едкой причиной
Повадки её ведьмовской,

Когда похищение томится
В лопатках, подобно крылу,
И вновь не страшна ни темница
И ни голова на колу,

Когда облакает нирваной
Предутренней дымки покров
И храм, и ковры, и диваны,
И вспышки сигнальных костров?

Проснувшись некуда мчаться,
Притихли они взаперти, –
Зачем же тогда разлучаться
Придётся, уж как ни крути?

И он объясняет некстати:
«И нам ведь не век вековать –
Какой ни была бы ты стати,
Кукушке о нас куковать, –
Куда бы девать нам объятья?
Ведь в жизни, подчас грозовой,

Ты взбрызнула новое платье
Живою водой ключевой, –
Ты выберешь сотню примеров,
Как чётки, поступки сочтёшь,
Почтёшь откровеньем химеры,
Коварные книги прочтёшь,
Узнаешь, что я не узнаю,
Отыщешь, что я не найду,
Но вспомнишь однажды, родная,
Единственный месяц в году,
Где кровь закипала комками,
Глотками услада лилась,
Где мы оказались в капкане,
Поставленном нами для нас».

И скажет она: «Недалече
Прощанья отчаянный час, –
От встречи грядущей и свечи
Отраднее станут для глаз, –
Согреет меня не надежда –
Ну что же себя я казню? –
А всё же прошедшее прежде
Горит, как трава на корню,
Горит оно, отдано зною,
И ноет предвестьем потерь –
И если была я иною,
Иною и стану теперь, –
Иное теперь ты услышишь,
Иным не простишь никогда,
Но воздух, которым ты дышишь,
Вдыхаю и я навсегда –
И так велико постоянство,
Которое в сердце несу,
Как сосны умеют в лесу

Ветвиться, не злясь на пространство, –
Не больно уж ты завирайся,
Себя не растрчивай зря,
А лучше совсем зарывайся
В прославленный шум октября, –
Вдаваться в подробности чаще
Не надо по ряду причин –
Живи же и ты настоящим,
А я-то - давай помолчим».

Чирикала Божия пташка,
Да деревце рядом росло –
И веско, и броско, и тяжко
Для них расставанье пришло –
И надо держаться достойно,
Как их напоивший не сник,
Вещающий так же спокойно,
Уверенной власти родник,
Поящий таящейся влагой,
Поющий для полчища птиц,
Гордящийся честной отвагой,
Вовек не бросавшийся ниц,
Струящийся дальше и дольше,
Внимающий всем и всему, –

И, может быть, лишь потому
Они не встречаются больше.



Она и жива, и здорова,
Она и мила, и сурова,
И волосы те же, и кожа, –
А всё ж на себя непохожа, –
И с ворохом свежих вестей
Она принимает гостей –
И пьёт, и поёт, и судачит,
Порою над выдумкой плачет,
Невидимой дымке сулит
Платочек ей вышить прощальный,
Да что-то ей всё не велит –
И смотрит с усмешкой печальной,
Как ветер листву шевелит,
И в шелесте, сплошь изначальном,
С прибором замешкавшись чайным,
Друзьям иногда говорит:
«Да! – были и мы молодыми –
Но что же растаяло в дыме,
Развеялось по ветру вдруг?
Вот я – и живу, не старея,
А всё прикоснуться не смею,
И холодно как-то вокруг,
И в шёпоте верных подруг
Порою, мне кажется, что-то
Знакомое чудится – что там?
Ах, лучше оставим заботам
Их вечно исхоженный круг!
Они никуда не девались,
Лишь спали, когда забывались
Посланцы ненужные их –
А мы не знавали таких,
Которые часто сбывались! –

Ах, нет, я обмолвилась, – то-то
Заботами нынче щедроты
Уже окрестили – и впрямь
Запутаться можно, – а я-то
И вправду счастливой когда-то
Была, – календарные даты,
Скрипичный кортеж Сарасате
Да вата меж сдвоенных рам! –
Как быстро позёмка успела
Припудрить окрестности! – мы
Почти не боимся зимы, –
Я что-то другое хотела
Сказать, – возникая из тьмы,
Мы царствуем, – наше ли дело
Судить роковые пределы,
Радеть, как редуют холмы,
Что нынче украшены лесом,
А завтра в наряде белесом
Средь лыжной стоят кутерьмы, –
Ах, что там! - да кто там увлётся?
Разбор настроений прошёл!
Непролитым ливнем растёкся!
И стол – это всё-таки стол,
А мы-то, веселья жрецы,
Невиданных истин гонцы,
На выдумки больно охочи!
А ну-ка сюда, беглецы! –
(Минутная пауза) – впрочем,
Мы часто к чему-то бормочем
Лишь на руку мыслям охочим,
С концами не сводим концы! –
Прошу!» –
И вино из бокала
Достигнет в итоге накала,

Чтоб рьяною искрой сверкала,
В мерцании еле видна,
За всё расплатившись сполна,
Хотя бы снежинка одна, –
Задумчивых дней пелена
На долгие годы видна –
Недаром к себе привлекала –
Изольда! Не вышло Изольды!
Как в юности песня «Два сольди»!
Как танго на глади паркета!
Одетта! Не вышло Одетты!

А он заметался, как всадник!
С мечтами ли счёты сводить?
Умел он себя находить –
Вот дом, перед ним палисадник,
Вот вышедшей вишни поклон, –
И кровлями с разных сторон
Мерещилось – Бог его знает,
Куда надвигается рать,
И сколько придется играть,
И где там вода замерзает.

Мотаясь в пыли непрерывном,
И трезвым, и будучи пьяным,
И глядя на группы прохожих,
В потёмках, как в мыслях несхожих,
В позёмках, в порошах, в погожих,
Не съеденных сыростью днях,
Плутал он, как щит волоча
Уверенность в том, что не нужно

Казаться совсем безоружным,
Что кровь у него горяча,
Что страх – это прах на ветрах,
Что доблести нужен избыток,
Попыток успешных напитков,
Что мельничным крыльям не он
Тогда предложил состязанье,
Когда не держало терзанье
Его под угрозой кинжала, –
«Всё это – пчелиные жала, –
Он так рассуждал, – обижало
Меня и не то, что влюблён,
Что влюбчив да вспылчив до края, –
За что же себя я караю,
За что ограждаю? Не знаю!
О Боже!» – печалился он.

Гаремы турецких султанов
Желали превыше всего
Несметную ношу каштанов
Взвалить на него одного, –
Затворниц тюремные вздохи
Сводили и сводят с ума –
Ему эти ахи и охи
Давались всегда задарма, –
Капризные перья качались
Над милой ресничной дугой,
Запретную дверью случалось
Входить понарошке к другой,
Кричали ночами павлины,
Луна окуналась в провал –
И то, что всегда говорим мы,
Он им без конца повторял,
Твердил, уверял и лелеял –

И, голосу вторя его,
Они становились смелее,
Не помня уже ничего,
Плели соловьиною ночью
Немыслимой неги узор, –
И то, что во сне мы бормочем,
В шатре оставляло зазор, –
И прядью, подвластною ласке,
Огласке шептала: держись! –
Восточной подобной сказке,
Дорожкой ковровою жизнь –

Красавицы! – вас ли забудут?
Не вас доводилось ли знать?
Следы не успеешь запутать –
Умеют они настигать, –
Ну что же поделаешь с ними,
Когда, осуждению в упрёк,
Они настигают, как имя, –
И переступаешь порог, –
Когда утешеньем накинута
На плечи уставшие плащ,
Когда обретенье воспримут
Вершины отринутых чаш, –
Как будто не выпита чаша
И пьёшь её лишь до конца,
И судьбы не сходятся наши –
Но что же сближает сердца? –

А он бормотал, уезжая
Всё дальше и дальше один:
«Не надо грустить, провожая, –
Всё просто – чужой и чужая, –
Всё просто – как хлеб, что едим,

Как воду, что пьем, не сольёшь
В единый сосуд для потомства, –
Поспеет всегда вероломство
Подставить не ножку, так нож,
Успеет, откуда не ждёшь,
Во всём появиться наряде –
Не витязи в полном параде,
А выродки ревности – что ж!
Валиться им в ноги? – одною
Военною спесью смешат!
А спорное не разрешат
Несчастные даже войною! –
И вы побывали со мною,
Красавицы нежные! – вам
Я всем благодарен – и всё же
Скажу, на кого вы похожи, –
Похоже, я слишком упрям,
Валандался с вами невольно –
Так что же? – ведь это не больно
Известно хоть этим камням,
Дорогой приткнувшимся раньше,
Покуда земля-великанша
Взяла их себе на учёт, –
Учтливое время течёт,
Песок осыпается летом, –
Подбитые ветром отпетым
Подолы заброшенных ив –
Их ветхий мотив молчалив –
Подобны устойчивым метам
Иль голосу древности – в этом
Значенье их, – в пору кометам
Некстати буравить залив,
Ввалиться некстати однажды –
Мол, мы погибаем от жажды,

Спасите! – и к чёрту снести
Всё то, чему душу не вверю, –
Наверно, не кажется скверу,
Что листья сжимаю в горсти, –
Рвануться вперёд – и готово!
И баста! – ученье не впрок! –
И вводное впутывать слово
В ряды расхोdivшихся строк!
Таможенным ведомствам зорким
Уж то-то работы задаст,
Чтоб им не бродить по пригоркам,
Равнин перевёрнутый пласт!
Река побежит без утечки,
Судьба не допустит осечки,
А взбадривать станет, пока
Сойдутся к тебе облака».

Ему ли не мчаться упорней,
Не мчаться скорей и верней?
И то, что дорога покорней
Прокормит – ведь дело не в ней!
Ему ли, отчаясь, не скрыться?
Случается это всегда!
И вновь не могла позабыться
Ближайшая к дому звезда.

Мы видели след от подковы,
Мы слышали цокот копыт, –
Казалось бы, что тут такого
И что в его сердце кипит! –
Ближайшие сосны шумели,

Он ехал какой-то иной –
Но что мы тогда разумели,
На отмели стоя речной?

Он ехал в глуши постоянной
И нас на изгнание обрёл,
Блуждающий в роще туманной
Его не манил огонёк,
Раскрытыми крыльями речи
Его я увлечь не успел –
Он ехал и ехал далече
И странную песенку пел:

«Ах, сколько же света хотела
Ты мне насовсем подарить!
И птица над нами летела,
И некого было корить.

Глаза бы мои не глядели
На то, что случилось с тобой!
Гитарные струны гудели
Над нашей с тобою судьбой.

Уста бы мои не искали –
Да что же пристало искать?
И если приеду – едва ли
Сумеешь меня приласкать.

Дрожат под рукою перила,
Снежинки слетаются с крыш –
Но то, что тогда говорила,
Ты снова сейчас повторишь».

ЯН БРУШТЕЙН

МИР ОЛЬГИ

Повесть в стихах

ТЕТРАДЬ, НАЙДЕННАЯ...

В один из недавних, привычно дождливых, дней, в мой сельский дом вломился дружественный сосед, плотник Валентин. И рассказал, что его с сыном подрядили в недалёкой деревне разбирать старую полуразрушенную избу – новый хозяин собирался на этом месте строить что-то новомодное.

Валентин у нас – дед мудрый, малопоющий, книгочей, любитель Пушкина и Тютчева, и потому сразу обратил внимание на исписанную неразборчивым почерком потёртую общую тетрадку. Вчитался – и возрадовался, настолько эти столбики немудрёных стихов некой Ольги Мантуровой оказались ему по вкусу. Подумал, да и понёс тетрадь мне, уважаемому литератору из областного центра. Хотя прочитанная в тот же вечер рукопись разительно отличалась от нынешнего поэтического мейнстрима, кое-что в ней мне показалось небезынтересным. В первую очередь, сама судьба этой женщины, её характер и живая, искренняя манера письма. И ещё – подлинная боль за свою страну, за погибающую, брошенную всеми деревню.

Вот это и сподвигло меня познакомить почтенную публику со столь необычно и неожиданно обрётённой рукописью. Надеюсь, что маленькая книга стихотворений Ольги Мантуровой найдёт своих читателей.

Ян Бруштейн

СТРАНИЦА

Страница тронется как поезд,
В нее я странницей войду,
В плацкартном сяду, беспокоясь,
Как будто еду на войну.
А за окном, давно не мытым,
Еще мелькают кое-где
Деревни с их нехитрым бытом,
Где старики живут в беде.
Здесь под ногами прах и глина,
Здесь печи дымны, зимы длинны,
Но здесь - России сердцевина,
И, чтобы все соединить,
Я карандашиком старинным
Тяну прерывистую нить.
И эти буквицы кривые,
Как новобранцы боевые,
(Визжит гармошка словно плетъ)
Стараются, пока живые,
Не помереть, так песню спеть.

СТРАНА

Я родилась в размашистой стране,
Рассыпанной теперь, как чьи-то бусы,
Я там жила в деревне у бабуси.
Страна совсем не знала обо мне.

Но я ее всегда любила, как
Траву и речку, огород и поле,
Как рыжего котяру на заборе,
Как дом, где и не знали о замках.

Теперь деревни нет и нет страны,
Её вы победили без войны,
Забрали все мои святые крохи.
Да, было много всякого тогда,
Но что же - вместо? Чёрная беда
И в прошлое забытые дороги.

БЫЛЬ

Дядя Коля, баба Нюра
Да козёл Бобыль...
Вот куда я влипла сдуру,
Вот в какую быль.
Дачник здесь не оседает,
Слишком долог путь.
На дороге - пыль седая
Не дает вздохнуть.
Попик топает по краю,
Коротает век.
Он старушек отпевает,
Добрый человек.
А когда село иссякнет
И сгниют мосты,
Уходить придется всяко
В дальний монастырь.
Кто прошелся чёрным гостем?
Вроде не война...
Но останусь у погоста
Только я одна.

БАБУЛИН ДОМ

Помнит ли меня бабулин дом?
Все стоит, но держится с трудом.
Покосился старенький забор,
И на нем ведро висит с тех пор.
Проржавела в том ведре дыра,
Видно всю дорогу со двора.
По дороге этой, вот беда,
Не придёт никто и никогда.
Дом не ждет, давно не помнит зла.
Просто вся деревня умерла.

РАДИСТКА ШУРА

У моей соседки тёти Шуры
На мешок похожая фигура,
Две козы и зуба вроде три,
Пять сынов раскиданы по свету,
Но от них вестей давненько нету,
Как ты на дорогу ни смотри.

А на праздник Шура надевает
Две медали, и бредет по краю
Старого безлюдного села.
Солнышко гуляет ярким диском...
На войне она была радисткой,
Но уже не помнит кем была.

Пусть на Шуре кофта наизнанку,
Но зато она поёт «Смуглянку»,
В ноты попадая через раз.
Говорит мне: «Выпьём самогонки!»
Старый голос - непривычно звонкий
И сияют слёзы возле глаз.

ВИТЬКА

Отчаянье однажды захлестнёт,
И никуда от этого не деться...
Запрятаться - ну разве только в детство,
Там каждый день горчит, как старый мёд.
И кто меня на речку умыкнёт,
Наверно этот - белокрысый Витька,
Чумазая тропа устанет виться,
И все истратит время - враль и мот.

Он был бы, может, суженым моим,
Но наша жизнь пропала, словно дым
Войны - давно не нужной и постылой.
В чужих горах погибший капитан
Не вам, а мне был Божьей волей дан...
Моя страна его не сохранила.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ХИЧКОК

Только зазевайся - птицы налетят,
Злые нападут, клювами забьют.
Как уйдешь из дома - зонтик захвати,
Из железа сшит, кованы края.
Будут птицы биться - клювы отобьют,
Будут горько плакать, сядут на забор.
А забор, плетенный ивовым прутом,
Корешок пустил, листья раскидал.
Под забор, под иву, спрятался ручей,
Рыба в нем живёт, птицу сторожит.
Выйду на крылечко, молча посмотрю,
Как сумеет рыба птицу одолеть...

ДВОЕ

Нынче ночь неусыпно следила за мной,
И дышала как зверь за спиной,
Притаившийся ангел за правым плечом
Не хотел говорить ни о чём.
Не понять из гудящих в пространстве речей,
Кто смеялся на левом плече.
Эти двое не знают ни зла, ни добра...
Кто же сердце у них отобрал?
Как сойдутся, как сцепятся - будет потеха,
Только мне ни до сна, ни до смеха.

ПОРА...

Пора туманом в поле,
Да голубем в окне,
Да распрощаться с болью,
Таящейся во мне.
В зеленом полусвете
Легко свечу задуть,
Быть вольной, словно ветер,
Как будто зная путь,
Лететь, назад не глядя,
Забывать, который век...
И боженька погладит
Меня по голове.

СТЕРНЯ

Когда отчаяние бросит
Ничком в колючую стерню,
Меня от бед отмоют росы,
И снова я беду стерплю.
Мне не досталось бабьей доли,
Но вдоволь выдано тоски.
Однако есть вот это поле,
Река, деревня и стихи.

ГРАНИЦА

То, что дано мне вышней волей,
Испытывает на излом.
Не выручают лес и поле
В борьбе со злом.

Становится сильней и строже
Моя извечная вина,
И никогда мне не поможет
Стакан вина.

Но боль затихнет и отстанет,
И растворится вдалеке,
Когда в предутреннем тумане
Сойду к реке.

Воды и воздуха граница
Размыта в этот тихий час,
И я слезам позволю литься
Легко из глаз.

В САРАЕ

Когда я пряталась в сарае -
Поплакать или помечтать,
Там оживала тьма сырая,
И наступала благодать.
Сквозь брёвна ладилась дорога,
И ластилась бродяга-рысь,
И белого единорога
Я отпускала попасться.
Здесь не было стыда и боли,
Никто не звал и не искал...
Своей неодолимой волей
Я посылала в бой войска.
И вражья сила отступала,
Война повержена была.
Я молодого генерала
Встречала на краю села.
Он не боялся вражьей пули,
А тут терял признанья нить...
Но отворяла дверь бабуля,
Курей велела покормить.
Ночь наступала в теплом доме,
Гроза гремела, как война.
Я вспоминала в полудрёме
Усы, погоны, ордена...

РЕКА

В моей реке воскресла рыба-
Обратной стороной беды.
Лещи такие, что могли бы
Вдвоем лишь вынуть из воды.
Поля покрыты васильками,
Засилье сорняков одних,
Мы в землю яды лили сами,
И воды вымерли от них.
Теперь пребудут благодатны
Разоры наши для реки...
И ставят сеть, с утра поддаты,
Чужой деревни мужики.

ТРОПА

В забытом доме лесника
Остались только пёс и кошка.
Сидят и смотрят на дорожку.
Их жизнь - трудна, судьба - легка.

Пёс очень стар, почти что слеп,
Он ходит мало и неловко,
И кошка делится полёвкой,
А то и птицей - тоже хлеб.

Порой приходит человек,
Чужой, неправильный, но добрый,
Приносит лакомства, и долго
Сидит, не поднимая век.

День откатился и пропал.
Не видно маленькую стаю.

И понемногу зарастает
Туда ведущая тропа.

СОБАЧИЙ МИР

Подмосковные дикие стаи,
И боюсь их, и к ним я тянусь.
Как они на меня налетают,
Словно могут проверить: не трусь...
Побежишь - разорвут на кусочки,
Только я им навстречу иду,
Не боюсь я, ни капли, и точка -
Ни в прошедшем, ни в этом году.
И они вокруг меня затихают,
Хлеб суровый даю им из рук.
Я - своя, и покорная стая
Словно дети, резвится вокруг.

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ

Как странно быть лирическим героем
В краю, где грозы нынче землю роют
Неодолимым огненным кайлом,
Где вместо леса - чёрный бурелом,
И где земля могла рожать бы втрое,
Но только вспоминает о былом.

Как страшно быть поспешным персонажем,
Который брошен автором, и даже
Не помышляет вырваться за круг.
Мой автор, мой давно заклятый друг,
Вернись быстрее, не спи, и будь на страже...
Не то - смотри, я отобьюсь от рук!

РАМА

На границе города и мира,
Там, где за дорогой – бурелом,
Мама безнадежно раму мыла
И молчала что-то о былом.

Мама у меня была упряма.
Дым и гарь садились на стекло.
Потому она и мыла раму,
Хоть её от этого трясло.

Видно, в мире не хватало света.
Чтобы солнца луч сюда проник,
Мама раму вымыла, и это
Тёмный час отсрочило на миг.

ЭТАЖИ

Нет ни меры, ни веры у вечерней межи,
Только острые тени на лицах,
Нерешённым примером там дорога лежит,
И дрожит, остывая, столица.
А в её подворотнях распевают ножи,
И простая наука расправы
Бьётся в криках вороньих, и надежды на жизнь
Не даёт ни виновным, ни правым.
Так безумный ребёнок громоздит этажи...
Только всё установлено мудро:
И, пронзительно тонок, в жёлтом дыме кружит
Звук трубы, возвещающей утро.

ПОЛОВА

Мне скоро сорок. Я - старуха.
Ни мужа, ни детей, ни слуха
На главные мои слова.
И нет зерна - одна полова,
Но я тащу обломки слова
Так, что на части - голова.
Пора уехать. Краем света
Пусть вылечит меня планета
От этой горькой пустоты,
От нелюбви, душевной смуты,
Уйду безмолвной и разутой,
И следа не отыщешь ты!

ОКНО

А было ли распахнуто окно?
Но соловьи как взорванные пели,
И мы уже любили две недели
Друг друга, и сливались мы в одно.
Ты был не груб, но был ты центром сил,
Я таяла в твоих руках как свечка,
И был восторг мгновенным или вечным,
И соловей над нами голосил.
Не знала я, что плакальщиком он
Для нашей страсти ненароком станет:
Ты был чужой, ты был отлит из стали,
И ветер звал тебя со всех сторон.
Когда ушел, окаменела я,
Но из окна смотрела на дорогу,
И лунный бык меня царапал рогом,
И оборвалась песня соловья!

ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ

Я эту любовь сожгла бы в печи,
На тыщу частей топором разрубил...
Сбегу, растворюсь, ты меня не ищи,
Забудь, что случилось, не помни, что было!
Иди, отправляйся к постылой жене,
К высоким чинам, и квартире, и даче,
Забудь навсегда все дороги ко мне...
Прости... Я открыла... Ты видишь - я плачу!

ПОД СНЕГОМ...

Под снегом рыхлым и печальным
Иду к тебе, скорей встречай.
Дома покрыла цветом чайным
Заката знобкая печаль.

Над покосившимся забором
Пощёчиной - вороний крик.
Навстречу нашим разговорам
Спешу сегодня напрямик.

Промокли старые сапожки,
Почти бегу к тебе скорей...
Ты чаем напои, а ножки
В своих ладонях обогрей!

ОГОНЬ

На грани гибели - какая же любовь?
Какая радость на краю обрыва?
Каким же ты бываешь торопливым,
Когда врываешься, вопросом выгнув бровь!
Я знаю, эти страсти не по мне -
У тихого огня хочу согреться,
Но никуда мне от тебя не деться,
И я сгореть могу в твоём огне.

СЛЕД

Ну, как живешь, не любящий меня,
Тебе в тоске вседневной хорошо ли?
Какую из подружек разменял,
Боец мужской неколебимой воли?

Я умерла, остался только стыд.
Прости меня - отчаянную, злую.
И только по ночам болит, саднит,
Горит на коже след от поцелуя!

ТОТ ГОРОД

Тот город, в котором остались осколки меня,
Живёт, как и прежде, ложась под колеса машин.
И ты позабыл, как однажды судьбу разменял
На мелочь измен, растранив остатки души.

А я доживаю в России, за краем Земли,
Забыв окольцованный город, ослепший и злой.

И сердцу как будто по-детски сказали: «Замри!»
И сверху засыпали солью, песком и золой.

Тот город, где дворник мои дометает следы,
От сирой страны отгорожен асфальтом Кольца.
Меня он из праха, как будто бы куклу, слепил,
Потом, наигравшись, до пепла спалил, до конца.

КИНЖАЛ

Гроза гремела, кони ржали,
Орлы срывались с высоты,
И расцветали на кинжале
Любви и ревности цветы...
Все это было - но не с нами,
Не в этих тусклых временах,
Осталось песнями и снами,
И дразнит бедную меня.
А где же ты, сбежавший резво,
Забывший рыцарства азы?
И не кинжал меня зарезал,
А твой раздвоенный язык!

УТРО В ДЕРЕВНЕ

На снег спустились первые грачи,
Береза за окном в тумане тонет.
Веселый черт в печной трубе кричит -
Весну в отдельно взятом регионе
Приветствуя, он пляшет и гудит.
Тепло еще накличет непременно.
А роща рвет тельняшку на груди,

Хотя еще в сугробах по колено.
Я выхожу на волглое крыльцо,
И птичий грай звучит весенним зонгом.
Туман ладошкой гладит мне лицо,
И алый свет встает над горизонтом.

В ОГОРОДЕ

Такая жара, что расплавились пальцы,
Сведенные на черенке
Лопаты тяжелой. И сколько ни пялься,
Но все же копайся в тоске
На этом зачахшем своем огороде,
Где лишь лебеда и осот.
Чужая коза неприкаянно бродит,
Сухую травинку сосет.
Я жду урожая, как будто рожаю,
Но будет ли толк без любви?
Еда дорожает, но здесь я чужая,
Забыта козой и людьми.
Картошка, морщинистая, как старушка,
И мелкий, тщедушный севок...
Я землю вот эту взобью, как подушку,
И выращу много всего!

ЗАБОР

Два ведра зелёной краски
И один забор,
Старый кот глядит с опаской
На меня в упор.
Тихо воют в огороде
Злые кабачки,
Помидоры не доходят,
Дохнут от тоски.
Нет, меня не любит вроде
Сельская фигня,
Тихо плачу в огороде
На исходе дня...

ПОЙДЁМ, ПОМОЛИМСЯ...

Пойдём, помолимся, дружище,
Туда, где дерево в тоске,
Где голос основанья ищет,
Но все висит на волоске.

Помолимся, по крайней мере,
О тех, кто выпал из гнезда,
Кому в лишенном чуда мире
Всевышний козырей не сдал.

Как докричаться нам до Бога
В своей, забытой им, глуши?
Мы и хотим совсем немного:
Любви и света для души.

ИМЯ

Я Ольга, Хельга... В имени моем
Варяжский отразился оком
И слышится глухой набат набега.
Мы приходили править на Руси...
Но где теперь мы? Господи, спаси:
Мы растворились - черное на белом.

Прозрачен, но не призрачен мой мир,
В нем прадед, лейб-гвардейский канонир,
Соседствует с потомком крепостного.
А в дальней тьме бесчинствует монгол...
Все принял род мой и перемолол,
И потому крепка моя основа,

Но как понять, когда судьба трудна,
И подо мной качается страна,
Служить которой я была бы рада?
Пускай хотя бы тихие слова
Я принесу, и буду в них права,
Они - мои награда и отрада.

Я Ольга, только власть не для меня,
Сама собой не правила ни дня -
Дала свободу и душе, и телу.
Все в имени своем узнала я!
И викинга суровая ладья
Придет за мной к последнему пределу.

ДЯДЯ КОЛЯ

Последний мужик в умирающем нашем селе,
Печник Николай, погубивший глаза самогоном,
Выходит погреться на солнце - картохой в золе,
Такой же обугленный, с яростным глазом зеленым.

Когда-то он русскую печь починил от души,
В том доме, где пряталась я, вся из боли и страха.
Меня тормозил, и стакан за стаканом глушил,
Ругался и пел, и как будто дымилась рубаха...

Он смотрит на солнце и видит... А явь или сон,
Не так уж и важно, и хочет он только покоя.
В его телогрейку уткнувшись побелевшим лицом
И тихо скажу: «Ты держись, ты живи, дядя Коля!..»

МЯВ!

Когда ко мне зимой прибилась кошка
И привела измученных детей,
Была я словно голый нерв без кожи
И видеть не могла чужих людей.
Но эта неподъемная забота -
Мороженные уши и хвосты -
Меня отогревала отчего-то,
Хотя и были коготки острые.
Порой вся эта чёртова семейка,
Мою еду на части разодрав,
Съедала всё, и отобрать посмей-ка:
Немедля раздавался грозный мяв!
Но ввечеру, устроившись под пледом,
Они включали пламенный мотор,

И засыпала я за ними следом,
И страшных снов не видела с тех пор.
Теперь живу бесстрашно и упрямо,
Пока меня от всяких бед хранят
Седая кошка - ласковая мама,
И чёрный кот, и ярко-рыжий брат!

ВОИНСТВО

История репьями колетса,
И за околицей моей
Опять в намёт бросает конницу
Неукротимый Берендей.
Давно в пространстве нашем мира нет,
Безумен враг и рвётся в бой,
Но ступа яростно пикирует
С пилотом Бабою Ягой.
Врагу усталому напиться бы,
От жара глотки ссохлись аж,
Но заминирован копытцами
Весь окружающий пейзаж!
Бежали конные и пешие,
И водяные вслед палят.
Ведут кикиморы и лешие
В плен перепуганных козлят...
Храня своей земли достоинство,
На этом крайнем рубеже
Застыло сказочное воинство,
Поскольку некому уже.

ПРЕДРАССВЕТНОЕ

*Темнее всего перед рассветом
Бенджамин Дизраэли*

Я живу - доживаю за краем земли,
Где «Сапсан» не нарежет пространство ломтями,
Где не надо спешить и толкаться локтями,
Где упавшая ночь прошептала: «Замри!»

Петухи выкликают ненужный восход,
На реке невидимкой кричит пароход
И огни собирает на нитку,
Я тогда выхожу в предрассветную мглу,
Там от радости пес мой похож на юлу,
И спасибо ему за попытку...
Потому что граница идёт у крыльца,
Где железная тьма не пропустит лица,
И сердца остановит и вынет.
Нет ни меры, ни веры у этой межи,
Там остывшее время меня сторожит
И стреляет в упор и навывлет.

Но как только восход обнажает клинок,
И над миром звучит заклинание птичье,
Бесполезная темень меняет обличье
И сжимается жалобной тенью у ног.

БОМЖ ЮРИК

Бомж Юрик, пятидесяти с гаком лет,
Каждый день ковырялся в нашей помойке.
Он был одноглаз, но прилично одет,
Только жутко чумаз – такого отмой-ка!
Когда я приносила еду котам,
Смотреть не могла, как он тихо плачет.
Уходила молча, и слышала там
Быстрое чавканье - его и кошачье.
Однажды, уже вещички собрав,
Остатки еды отнесла бедолаге.
Мой сломанный, но не убитый нрав
Ташил меня прочь, к тишине и бумаге.
Сказала: «Прощайте», - так сухо, и тот
Рукой помахал, все закончив разом.
Потом тихо бросил: «И это пройдет!..»¹
И глянул мне вслед протрезвевшим глазом.

КОНЕЦ НЕДЕЛИ

Конец недели, как отрезало
От времени и от пространства...
Соседка, необычно трезвая,
Уходит вдаль со школьным ранцем.
Не пропадать же - дочь шалавая
Давно простилась и отчалила.
Бутылки - левая и правая
Звенят привычно и отчаянно.
А друг ее, Степан Васильевич,
Весь истомился в ожидании.
Когда-то он ее насильничал,

¹По преданию, такой была надпись на перстне царя Соломона.

Однако дело это давнее.
Оно и было, может, лучшее
Во всей судьбе ее усталой...
Я вслед смотрю и время слушаю,
Которого осталось мало.

БЕЗДОННОЙ НОЧЬЮ

Гореть и задыхаться мне в аду
За помыслы греховные ночные,
За то, что не могу дышать я ныне,
За сны, предвосхищавшие беду.
И мне, не евшей сныть и лебеду,
Не ждавшей запоздалых похоронок,
Спешить ли на свидание к Харону,
Куда зовет мой обнищавший дух...
Прости, мой сын, тебя я не найду,
Ты не случился, не явился миру,
За это мне воздастся полной мерой,
И это наяву, а не в бреду.

Бездонной ночью не ищу я сна,
Виновна, и никем не прощена.

СТАЯ

Всё не то, не о том и не так,
И цена этим песням – пятак,
Если сложится день побазарней.
То ли вою, а то ли пою,
Глохну, стоя на самом краю
И себя ощущая бездарной!

Гонит ветер по кромке воды
Не стихи, а пустые листы,
И остыл мой порыв благодатный...
А поддатый строитель могил
Нерожденную песню зарыл
И поставил открытую дату.

Но кому-то, я знаю, слышны,
Голоса посреди тишины,
Там слова собираются в стаю.
Вот они улетели за край.
Говорю: не смотри, и закрой
Дверь свою, задыхаясь и тая...

КРЫЛЬЯ

Переломаны крылья России,
Долгой ночью оборван полет,
И духовная анестезия
Головы нам поднять не дает.

Обезлюдели доли и веси,
Как же мало трудов и молитв!
И какая судьба перевесит,
Переможет и переболит...

ПРОЩАНИЕ С ДЕРЕВНЕЙ

Истлел мой дом, и растворило время
Крыльцо, наличник и мои следы.
Недолго мне до бегства, до беды,
Последний шаг, и я уйду за теми,
Кто не оставил в этой почве семя,
Чей образ растворился, словно дым.
И в старой бочке, в зеркале воды
Моё лицо остынет в день осенний.

С кем встретятся теперь мои грачи,
Когда весной вернутся с края света,
Кому о новой жизни прокричат?

Пускай мой стих, как чёрствый хлеб, горчит,
Но будет мироздание согрето
Дыханием пробившихся грачат!

ВЕРСТА

Я проживу, наверное, до ста,
И мокрая уляжется верста,
Которая от дома до погоста.
И будет гроб сколочен не по росту,
А как позволит столяру верстак,
Из обрезной доски - легко и просто.

И я уйду, как раньше молода,
Туда, где обожженная звезда
Мне путь покажет к тайному пределу,
Туда, где одинаково юны
Отец и дед, вернувшийся с войны,
И мама - девочка, в своей рубашке белой.

Мы будем пить из кринок молоко
Холодное, как будто из подпола,
А за окошком мяч для волейбола
Мальчишки зафутболят далеко...
И позовут меня девчонки в школу -
За три версты, и мы дойдем легко.

Наверное, таким и будет рай.
За что он мне? Смотри и обмирай
От страха, что исчезнет это чудо.

А то, что изломало, извело,
Сидит в аду, и в спину дышит зло,
И терпеливо ждет меня покуда.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ АВТОРА. ОТЪЕЗД ОЛЬГИ

Собравшись быстро и незнамо как,
Она ушла совсем не при параде:
Кроссовки, джинсы, старенький рюкзак...
В нём только нет отброшенной тетради.

Я вслед смотрю: попутный грузовик -
Водила соблазнён ценою сходной,
Вот поезд дикий, как ни назови,
Вот Ольга спотыкается на сходнях...

Колесный пароходик по реке
Пробьётся сквозь туманы утром ранним.
Она сойдет на берег в городке,
Забытом даже северным сияньем.

Ее друзья, Наташа и Андрей,
Кудлатый пёс, беременная кошка -
Все будут рады, встретят у дверей,
И лишь сынок попятится сторожко.

Зато морошки плошка на столе,
Зато до треска топленая баня...
И два по сто, и все навеселе,
И боль её отступится и канет.

Не страшно ль ей на этом берегу,
Когда вокруг – чужие домочадцы?
Я только вслед рукой махнуть могу,
И ждать вестей, а вдруг они случатся!

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ОЛЬГИ

Привет, мой автор! Тошно одному?
Я сорвалась, губу порвав блесною.
И как мне дальше жить, пока не знаю,
В чужом, хотя и дружеском дому.

Я доплыла или дошла по дну,
Отвыкшая от вольного полёта,
И - как там говорится у поэта? -
Не чую под подошвами страну.

Ты не смотри тяжелым взглядом вслед,
Я создана тебе ли на потеху?
И если ты поймал на время птаху –
Держать её в неволе права нет!

Ей сладок даже гибельный полёт,
Она не дышит, если не поёт.

ВТОРОЕ ПИСЬМО ОЛЬГИ

«Света нет, - сказала Света, хохоча,
Вдовый плат роняя с белого плеча, -
Все столбы свалила чёрная вода.
Света нет, не будет света никогда!
Унесём скорей продукты в погреба
Да пойдём в леса глухие по грибы,
Нас прокормит эта вечная река,
Будем жить под небом грубым и рябым...»

Ах ты, Светка, наливные тридцать лет,
Не нажившая ни злата, ни палат,
Да и мужа в этой стуже нет как нет,
На войне какой-то сгинул, говорят.
И прожил-то с ней всего четыре дня,
Не оставил ей ни сына, ни добра,
Только злится вечно пьяная родня -
Хоть бы леший эту бабу подобрал!..

Так живём, варенье варим на меду,
Солим рыбу и грибы, и все дела.
И пока что я отсюда не уйду..
Да еще намедни кошка родила.
Бедный автор, на меня сердиться брось.
Из России я сбежала в эту Русь.
Вот помрет мобильник - сразу станем врозь.
Я исчезну, я навеки растворюсь.

ТРЕТЬЕ И ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ОЛЬГИ

Я у неспешной каменной реки,
У волн её, тяжёлых, словно ртуть,
У не известной, как ни нареки,
У этих вод, которых не вернуть,
У этих струй, и мёртвых, и живых,
В них так и тянет навсегда упасть...
Но рядом - пёс, который может выть,
Точнее, петь, уткнувши в небо пасть.
Почти что волк, но выбравший меня,
Почти дикарь, доверившийся мне.
И греюсь я у этого огня,
И глажу по взъерошенной спине.
Он словно говорит мне: «Ну же, вот...
Шагни к реке, и руки опусти!»
Умоюсь я и мертвой, и живой.
Забуду о тебе.
Прости...
Прости...

ПРИЗНАНИЕ АВТОРА

Как ни трудно это осознать, но любому перевоплощению, даже по системе Станиславского, когда-нибудь приходит конец. Больше четырёх месяцев я не расставался с моим созданием, с Ольгой Мантуровой, жил её жизнью, её воспоминаниями, её болью. К этому моему проекту (извини, Оля, за столь сухое словцо) я долго готовился. Продумывал характер, судьбу, стиль... Но всего предусмотреть не мог, Ольга оживала буквально на глазах, начинала удивлять меня неожиданными мыслями и поступками, превращалась в живую страдающую женщину,

своевольничала, обростала биографией. И писала стихи, каких я ни от себя, ни от неё не ожидал. Эти стихи оказались настолько иными, наполненными другой, отличной от моей жизнью, что, даже после публикаций на её странице на сайте stih1.ru, почти никому не удалось меня расшифровать. Если честно, очень хотелось мне попытаться понять женскую душу - она ведь совсем другая, нежели у нас, значительно более глубокая, многоцветная и тонкая. И мне, матерому натуралу, вовсе не ведома. Преуспел ли я? Не знаю, не мне судить... всё оказалось намного интереснее и сложнее, чем я предполагал.

А стихи сочинялись именно в эти месяцы, иногда по несколько в день. Столь «плодовитым» я, чаще всего пишуший мучительно трудно и редко, не был никогда: годовая «норма» за четыре месяца! Многие поздравляют с удачной мистификацией. А я уверен, что действительно осуществил хотя бы частичное перевоплощение. Ведь мистификация - это игра, розыгрыш, карнавал... Был такой провинциальный литературовед Борис Корман, так он, наряду с понятием «лирический герой», ввел понятие «ролевой герой» - в применении к некоторым стихотворениям Некрасова. Такой ролевой подход есть и у Высоцкого, в его военных и сатирических песнях. Именно так я и отношусь к героине этой книги.

С холодной головой я никогда бы не написал эти стихи. Но и от себя тоже не написал бы. Я все это пережил в полной мере, внутренним перевоплощением... Тем более, что все персонажи, о которых пишет Ольга, - реальные люди, которых я давно знаю. Хотя некоторый взгляд со стороны, конечно, сохранялся. Однако пришло время, и я почувствовал, что совладать с моей Ольгой становится всё труднее. Да и заиграться боюсь, а то уже пошли письма с предложениями повстречаться-полнобиться, а то и вовсе матримониального характера))) И публиковаться предлагали, после этого вообще была бы труба... Мне Ольга много дала, повлияла на меня, я чувствую, что и свои стихи стал писать как-то по-другому, и взгляд на мир в некоторой степени трансформировался... Мне очень дорога эта книжка, полюбите и вы мою Олю.

ТРИ СВЕЧИ

«Поручик, а не сержант»

В конце восьмидесятых годов двадцатого века мой тесть, Михаил Теш, решил съездить на могилу к своему отцу в Польшу. Его отец умер в доме военных инвалидов в городе Душники-Здруй в октябре 1951-го года. Когда-то он со своей женой уже посещал этот город. Тесть сделал запрос в Красный крест. Из Польши пришёл ответ, что могила его отца не сохранилась, так как по действующему закону за место на кладбище нужно было платить каждые 20-ть лет.

...Отец моего тестя ушёл на войну в августе 1939-го года. Тогда тестю было всего две недели. В сентябре 1939-го года Миколай Теш, так звали отца тестя, попал в плен к немцам. Потом – освобождение, сильная контузия, дом военных инвалидов, смерть. Все это тесть узнал из писем, которые его отец присылал после войны. В семье моей жены бережно хранили фотографии, документы, касающиеся того периода, когда Прикарпатье было частью Польской республики. После смерти Миколая Теша из Польши прислали его личные вещи, молитвенник солдата 1938-го года издания и ежедневник 1907-го года издания с пометками на страницах, сделанных его рукой.

На запрос вдовы солдата пришёл ответ: «Все имущество передано государству». Я стал убеждать своего тестя не терять надежды и обратиться в мэрию города Душники-Здруй: «Ваш отец был солдатом, воевал, был ранен, находился у себя на родине в доме военных инвалидов. Государство взяло на себя заботу о нем, выделяло пенсию, предоставило персональную сиделку. На все это должны были сохраниться документы. Похоронили его также на государственный счет, могила должна считаться

военным захоронением. Так принято во всем мире: за военными захоронениями следит та страна, где они находятся. Миколай Теш – поляк, воевал в Польской армии и похоронен в Польше. Значит, эта могила должна быть на месте», – доказывал я своему тестю.

Весной 1993-го года мне с моей женой Галиной наконец-то удалось выкроить пару дней и съездить в Душники-Здруй. Мой тесть рассказал, где приблизительно на кладбище искать могилу его отца.

Рано утром на пассажирском поезде, в котором были двухэтажные вагоны, из города Валбжик мы приехали в курортный городок Душники-Здруй. Этот город вошёл в состав современной Польской республики в 1945-м году. Он расположен на юго-западе Польши на границе с Чешской республикой. Известность городу принесла минеральная вода «Мария». Источник этот расположен в Душниках-Здруй, где построен современный бювет. Великий польский композитор Фредерик Шопен приезжал на этот курорт. В городке проходит ежегодный Шопеновский фестиваль. Население его составляют в основном выходцы из восточных территорий второй Речи Посполитой – их переселили сюда после окончательного присоединения этих земель к Советскому союзу после второй мировой войны.

Первым делом мы пошли в местную контору по обслуживанию кладбища. Она оказалась закрытой. Нам кто-то посоветовал сходить в больницу и взять в архиве справку о пребывании в ней деда моей жены. В регистратуре всё записали, попросили прийти после обеда. В центре города, на площади, старушки торговали цветами и разной мишурой. Я разговорился с ними. От них мы узнали, что кладбище в Душниках-Здруй – единственное. Рассказал, зачем мы приехали. Две женщины из торгующих на площади работали в доме военных инвалидов сразу же после окончания войны, но они плохо помнили то время или не хотели рассказывать. Контора открылась, и мы с женой пошли туда. Я показал старую справку о смерти Миколая Теша, присланную в пятиде-

сятых годах. Директор этого заведения стала искать в архивных записях интересующую нас могилу. Оказалось, что в конторском архиве не было ни одной записи о захоронениях 1951-го года. Директор спокойно сказала: «Прошло столько лет, могли пропустить. Вы первые интересуетесь такими старыми захоронениями». Странно, другие архивные записи, более ранние, начиная с 1945-го года, были в порядке. Я попросил посмотреть записи, относящиеся к 50-му году или к другим соседним годам. Может, перепутали и записали не тем годом. Однако ничего, касающегося Миколая Теша, она не нашла. Посоветовала поискать могилу на кладбище. «Кладбище небольшое, могилы расположены по годам. Захоронение, если сохранилась надпись, вы найдете. Может, он был похоронен не на этом кладбище? У вас есть справка, что он захоронен здесь?» – закончила она разговор. Я ответил: «Справки у нас нет, но он похоронен в Душниках-Здруй! Мой тесть приезжал давно, могила была». «Тогда найдете!» – сказала директор конторы.

...Мы с женой долго бродили по местному кладбищу. Могилы с надписью «Миколай Теш», несмотря на помощь рабочего-смотрителя, не нашли. Видели надписи на старых надгробиях – поручик, умер в 1945-м году, еще одну старую могилу с военным званием, но интересующую нас надпись не нашли. Могилы 1951-го года нашли, на некоторых не было надписей. Рядом землекопы на месте старых захоронений копали новые могилы. Снова пришли в контору, отвечающую за захоронения. Сказали, что не нашли. Пани директор посоветовала найти справку, что дед моей жены похоронен в Душниках-Здруй. Мы снова подошли к женщинам, торгующим на площади, сказали, что могилы не нашли, нужна справка о захоронении. К нам подошло несколько пожилых мужчин. Разговорились, я показал фотографию солдат 6-го полка Стрельцов Подхаланских. Высокий мужчина с хорошо сохранившейся, несмотря на года, выправкой посмотрел на снимок. Левой рукой (на правой не было нескольких пальцев) он стал указывать на людей, изображенных на фотографии, и

пояснять: «Этот, называл он фамилию, – бросился с гранатой под немецкий танк, этого расстреляли в Катюны, это – командир полка...». Ветеран оказался командиром взвода жандармерии в этом полку и очень интересным человеком. Его, как члена НСЗ (Национальные Силы Збройные), приговорили к расстрелу во времена Польской Народной Республики. Смерть тогдашнего лидера Польши – Берута, спасла его от расстрела. Он вспомнил Миколая Теша. Позднее он рассказал нам небольшие эпизоды из жизни деда моей жены. Старики, а им было тогда уже всем далеко за семьдесят, стали говорить, что нужно идти к одному ветерану. Он был в своё время в доме военных инвалидов и всё точно знает...

Трехэтажный дом снаружи был покрыт штукатуркой. Ступеньки и перила в подъезде были деревянные. Меня удивило, что туалеты вынесены на лестничную клетку на каждом этаже, у нас в России – они обустроены в квартирах. Зашли в комнату. За столом сидел старичок с редкими седыми волосами и удивленно смотрел на вошедших. Ветераны наперебой стали рассказывать, показывая на меня, зачем пришли. Хозяин улыбался, видимо, не совсем понимая, что от него хотят. Я спросил, знал ли он в доме инвалидов Миколая Теша. Пан Владислав, так звали хозяина, спросил, кто он такой. Я ответил, что он был подофицером в Войске Польском. Воевал в 1939-м году, попал в плен к немцам, потом оказался в доме военных инвалидов в Душниках-Здруй. Умер в 1951-м году. Наступило молчание. Все ждали ответа хозяина квартиры. Пан Владислав ответил: «В 1951-м году в Душниках-Здруй в доме военных инвалидов умер не сержант, а поручик Миколай Теш». Все облегченно вздохнули. Владислав Ковальский встал и вышел из-за стола. Пан Владислав был тяжело ранен в битве под Ленино. Следы этого ранения были видны и через много лет. Он подошёл к этажерке, на верхней полке которой стоял портрет молодого польского офицера. Грудь поручика украшали многочисленные ордена – это был пан Ковальский. Пан Владислав рассказал нам о поручике Теше. Миколай Теш был сильно

контужен, его наполовину парализовало, но он был офицером и старался все делать сам, не быть никому в тягость. Гостеприимный хозяин довольно четко объяснил, в каком месте искать интересующую нас могилу. Ветераны стали вспоминать свое боевое прошлое и рассказывать мне о нём. Получалось, что многие из них были в армии генерала Андерса, но по каким-то причинам остались в СССР и закончили войну в составе Войска Польского. Дом инвалидов в Душниках-Здруй в начале пятидесятых годов закрыли. Инвалидов распределили по артелям. Сестёрмонахинь, которые ухаживали за ранеными, перевели в другое место. Некоторые офицеры женились на девушках из обслуживающего персонала, таким образом они остались здесь. Городок небольшой, пять тысяч жителей. Со временем дети некоторых ветеранов стали занимать высокие посты в администрации. Слух о том, что родственники из Санкт-Петербурга ищут могилу своего деда, быстро разнесся по местечку. Душники-Здруй – город-курорт. Получив подтверждение от уважаемого в городе человека, мы решили идти в военкомат узнать, имеются ли там сведения о людях, находившихся в доме для военных инвалидов. На улице я шёл впереди по тротуару. За мной – по двое (тротуар был узкий) шёл отряд ветеранов. Моя жена не ходила с нами по учреждениям, она осталась ждать с женщинами на улице. Позднее она рассказала мне, что все прохожие останавливались и смотрели на наше шествие. Ветераны были так воодушевлены общим делом, что, забыв про свои увечья, бодро маршировали следом за мной. Пока я с ветеранами ходил в военкомат, к моей жене подошёл человек. Все лицо у него было в синих отметицах, следах артиллерийского пороха, который много лет назад с невероятной силой прикипел к живой плоти и навсегда остался памятью о войне. Ветеран в свое время находился в доме инвалидов и знал её деда. Он согласился на следующий день показать могилу и оставил свой адрес. В военкомате наш отряд остановил дежурный офицер. Ветераны его знали, посыпались вопросы к дежурному. В коридоре пожилой человек в офицерской

форме вешал фотографии, посвящённые войне двадцатого года. Я обратился к нему с интересующим меня вопросом. Офицер внимательно выслушал и сказал, что документов на офицеров, находившихся в доме инвалидов, в местном военкомате нет. «Сходите в союз военных инвалидов, может, там помогут». На это один из ветеранов заметил, что он в настоящее время закрыт. «Так идите домой к председателю, адрес вы же знаете».

Мы вышли на улицу. Идти нужно было далеко. Я пожалел стариков, сказал, мол, вам тяжело идти, я схожу туда с женой, а потом снова с вами начнем поиски. Один ветеран, по фамилии Канарский, предложил мне и моей жене пожить у него. Я договорился, что схожу к председателю и приду в гости к пану Канарскому. Нам повезло – председателя застали дома. Мужчина был ещё на вид физически очень крепок и никак не походил на инвалида. Председатель рассказал, что родом он сам из Западной Белоруссии. Мальчишкой видел, как польские пограничники обороняли свою заставу в 1939-м году. Затем, прибавив себе возраст, добровольцем вступил в Войско Польское. В конце войны его сильно ранило. Он почти полностью потерял зрение, поэтому оказался в местном доме инвалидов. Ещё он добавил, что здесь все были из восточных областей Второй Речи Посполитой. Поручика Теша он не знал. В доме, который располагался в бельведере, было около трехсот раненых. Ухаживали за ними сёстры из местного монастыря.

«Сколько ему было лет?» – спросил ветеран.

«Когда умер, тридцать девять» – ответил я.

«Мне было чуть больше двадцати, – продолжал председатель, – это большая разница. Я с ним не общался, слишком разные у нас были интересы». Он нам посоветовал съездить в небольшую деревушку, недалеко от города. Там жил бывший завхоз дома инвалидов.

В Душниках-Здруй все друг друга знают. Нам быстро подсказали, как найти дом пана Канарского. Пан Канарский до семнадцати лет жил в Смоленской области. В 1944-м году

его, партизана отряда Ковпака, после соединения с частями Красной Армии определили служить в Войско Польское. Пан Канарский служил во 2-й армии при штабе. Он рассказал мне очень много интересных вещей, связанных как с военным временем, так и с операцией «Висла. В начале пятидесятых годов он демобилизовался и стал жить в Душниках-Здруй, работал в милиции.

После обеда взяли такси (так как автобусы в нужном нам направлении ходили по расписанию) и поехали вместе с паном Канарским к бывшему завхозу. Завхоз строил себе дачу. Вначале он с видимой неохотой стал вспоминать те времена. Когда я сказал, что мы приехали из Ленинграда, он оживился, как-то весь воспрянул. В начале войны завхоз (к сожалению, я забыл его фамилию) возил продукты по Дороге жизни. Он с восторгом рассказывал про это время. Всё это было очень интересно, но нас интересовало другое. Я снова назвал фамилию деда жены и объяснил, что он воевал в 1939-м году, попал в плен к немцам. Ветеран, к которому мы приехали, рассказал, что в доме инвалидов были собраны офицеры 1-й и 2-й армии, воевавшие в 1944-м, 1945-м году. «Я помню, – сказал он, – что в 1951-м году умер поручик. На похоронах я не был и места захоронения не знаю». Таксист отвёз нас обратно. Во время разговора он стоял рядом, внимательно слушал – денег за дорогу не взял.

На следующий день мы встретились с уже знакомым нам ветераном. Снова пошли на кладбище, он показал нам могилу поручика Теша. Я решил зайти в контору. В центре города нас ждали вчерашние помощники. Опять сводный отряд тронулся в путь. В конторе пани директор, несмотря на уговоры ветеранов, стояла на своём: «Принесете справку – оформлю!», и никакие свидетельские показания в расчет она не принимала. У нас опустились руки. Мы располагали справкой из местной больницы, что поручик умер в ней в октябре 1951-го года, которую мы и предъявили. В ответ прозвучало: «А похоронили, может быть, в другом месте!». Кто-то предложил сходить в костёл святого Петра

и Павла. Туда я зашел только с паном Канарским. Ксендз выслушал пана Канарского. Пригласил подняться наверх. В большой келье мы остались стоять посередине. Священник вынес книгу, открыл её и нашел интересующую нас запись. Пан Канарский попросил сделать копию этой записи. Ксендз ответил, что «он справок не дает, приходите завтра, будет работать канцелярия». Я сказал, что приехал из Ленинграда и у меня каждый день на счету. Священник сделал исключение и дал справку, что поручик Миколай Теш похоронен на местном кладбище. На улице я сказал оставшимся ждать нас ветеранам, что мы нашли подтверждение о захоронении.

Старые бойцы радостно заулыбались, раздались ликующие возгласы. Прохожие останавливались и спрашивали, в чём дело. Многие сочувственно поздравляли. Один житель городка рассказал, что, когда он был харцером, они ухаживали за могилой поручика, умершего в 1951-м году в местном доме военных инвалидов. Ребята со своим учителем по праздникам убирали это захоронение, приносили цветы, но потом почему-то за могилой прекратили ухаживать. Пан оказался столь любезным, что согласился показать нам, где находится могила. Мы долго искали на кладбище это место, ведь прошло столько времени. Наконец «харцер» на самом верху, недалеко от ограды, показал на холм без креста. Он уверенно сказал: «Это та могила, за которой мы ухаживали». Подошёл смотритель кладбища. На наш вопрос: «Какого года захоронение?», он ответил: «1951-го, а чья это могила, не знаю». Все сходилось. Мой тесть тоже рассказывал, что ему в 1970-м году старый смотритель показал на горе три могилы без крестов, расположенных в ряд. Прошло много времени. Смотритель, который хоронил его отца, стал глубоким стариком, находился на пенсии, со временем забыл, в какой могиле похоронили польского поручика. Теперь, когда два человека показали нам одно и то же место, когда мы имели документ из местного костёла, что захоронение было произведено на кладбище города Душники-Здруй, можно было смело идти в

контору по захоронениям. Из этого учреждения нас послали в мэрию заплатить за резервацию места на следующие двадцать лет. Всюду меня сопровождал пан Канарский и ещё два старых ветерана, командир взвода жандармов 6-го полка Стрельцов Подхаланских и старый офицер, показавший могилу. В мэрии те сотрудницы, к которым мы обратились, очень сочувственно отнеслись к нашим проблемам. Они бесплатно выдали мне новую справку о смерти Миколая Теша, хотя эта справка стоила 100 тысяч злотых (в ценах 1993-го года). Одна из сотрудниц проявила любезность и сходила в архив. Она нашла запись акта о смерти поручика и сделала мне копию. Там есть графа, в которой указана фамилия оформлявшего похоронные документы. Я заплатил за сохранность могилы на последующие 20 лет (200 тысяч злотых), взял все справки, поблагодарил помогавших мне женщин.

Вместе с ветеранами решили снова зайти к участнику битвы под Ленино. Он принял нас радушно. Я назвал фамилию человека, который помогал в организации похорон. Майор (к тому времени ветерану присвоили это звание) хорошо помнил Блажея Баселюка. Блажей был родом из местечка Городок, расположенного недалеко от Львова. Ветеран сказал: «Как сейчас вижу этого двухметрового крепыша». «Что с ним стало, где он сейчас?» – спросил я собеседника. Старик пожал плечами: после расформирования дома инвалидов его определили в какую-то артель. Одновременно он вспомнил, что Блажей воевал вместе с Миколаем в сентябре 1939-го года, и рассказал еще несколько эпизодов из жизни Баселюка и Теша.

Снова, уже несколько большей группой, состоящей из местных военных инвалидов, отправились в контору. Там я показал справку об оплате. Сотрудница этого учреждения выписала новую регистрационную карту. Теперь вновь в конторе, которая ведет учет захоронений в городе Душники-Здруй, есть запись о захоронениях, относящихся к 1951-му году. Мы все – ветераны, пани директор конторы и я с женой – пошли на кладбище. Хотя кладбище расположено на горе и далеко от конторы, ветераны

ходили всегда со мной. На кладбище я показал могилу чиновнику. Она отметила это место в своих бумагах и поставила номер. На вопрос, буду ли я заказывать у них памятник, я ответил, что подумаю и дам ответ позже. Сотрудница конторы ушла. Ветераны еще раньше стали отговаривать меня заказывать памятник официально в конторе. Сказали, что там дорого, дешевле будет договориться с рабочим кладбища. Рабочий узнал меня и ветеранов. Три дня подряд в сопровождении сменявших друг друга ветеранов я приходил на это место. Пан Канарский вёл переговоры по поводу памятника. Я попросил оставить место для фотографии и сделать надпись: «Поручик Миколай Теш. Солдат сентябрьской войны». Затем, по совету пана Канарского, я отдал рабочему кладбища половину денег за работу и материал, остальную часть отдал пану Канарскому. Вечером в доме пана Канарского мы скромно помянули поручика Теша, всех других солдат, воевавших и погибших на войне....

На следующий день мы с женой уехали из ставшего для нас родным городка Душники-Здруй. Предполагалось, что 1-го сентября приедем и посмотрим на памятник. Судьба распорядилась иначе. Приехав в гости к родителям жены, мы рассказали им, что могила существует и что теперь с такой надписью её никто не тронет. Отец жены мог гордиться своим отцом, честно воевавшим за свою родину. Некоторые старики в селе останавливали меня и говорили, что Миколай Теш был их родственником. Один из них, девяностопятилетний Якуб Робатецкий, рассказал, как вёз Теша на сборный пункт в августе 1939-го года, а затем ездил за ним после войны в Польшу. Однако к тому времени границу закрыли, и он вернулся ни с чем. Поведал много интересных историй, касающихся поручика и его самого. Он воевал в 20-м году. На прощание подарил мне фотографию, где он лежит с пулемётом под Варшавой.

Волею судьбы я оказался в городе Сташув, где по дороге на населённый пункт Рытвяны в сентябре 1939-го года прорывался из окружения 6-й полк Стрельцов Подхаланских. В Сташуве я

познакомился с интересными людьми, которые помогли мне в поиске информации о деде моей жены. Среди них были люди разных возрастов и социальных групп. Вышек Крушевский работал инженером на электростанции в городке Поланиц. Помогая мне, он сокрушался, что ему не удастся найти ответ на волнующий его вопрос: почему его родной дядя сам пошёл в гестапо и погиб в застенках этого учреждения? Пан Ян Бахминский – представитель настоящей польской интеллигенции, его предки учились в университетах Санкт-Петербурга, Вены. Родственники пана Бахминского состояли в последнем иммиграционном правительстве в Лондоне. Сам Ян Бахминский добровольцем пошел на защиту Польши в сентябре 1939-го года. Воевал в армии «Краков». В октябре 1939-го года попал в плен к советским войскам. Раненного в ногу, Яна пожалел молодой капитан из Ленинграда и отпустил. Бахминский был родом из города Стебник, его отец работал там начальником железнодорожного вокзала. Позже семья переехала в Краков.

...Я родился в Ленинграде, моя жена – в Стебнике. Этот город расположен в Дрогобычском районе Львовской области. У пана Бахминского имелась возможность непосредственного доступа к различного рода информации, хранящейся в архивах. Его сын Евгений в начале девяностых годов 20-го века работал в мэрии города Кракова. Сам Ян Бахминский до пенсии занимал ряд руководящих должностей на производстве, затем преподавал частным образом математику и английский язык. Совершенно случайно я познакомился с участником битвы под Монте Кассино. Его звали Юзефом. В Сташуве этот пан занимался ремонтом телефонов. Я показал ему групповую фотографию солдат 6-го полка Стрельцов Подхаланских, ветеран узнал на ней своего шурина... Юзеф сказал, что шурина живёт рядом, в небольшой деревушке. Мы съездили к его родственнику. Из рассказа старого солдата я узнал еще несколько неизвестных подробностей о боях 6-го ПСП. После боя под Томашовом-Любельским 24-го сентября командир 6-го ПСП, Мечислав Добжаньский, отдал

приказ о роспуске полка. Полковое знамя спрятали в старом пне, сейчас оно находится в музее Войска Польского. По дороге на Рытвяны стоит памятный знак – на сером валуне установлена мраморная плита: «В этом месте 10-го сентября бойцы 6-го полка Стрельцов Подхаланских пошли на прорыв». Недалеко от города Санок, в местечке Быковцах есть памятник солдатам того же полка. Памятные знаки, посвящённые 6-му полку Стрельцов Подхаланских, находятся в местечке Осек на берегу Вислы, где в 1939-м году с боями переправлялась армия «Краков», в городе Самбор и в селе Дубляны. В городе Самбор памятник открыли 15-го августа 2007 года, а в Дублянах – 29 июня 2008 года.

15-го августа 2007 года нас с женой пригласили на открытие памятника солдатам 6-го ПСП в городе Самборе. В годы 2-й Речи Посполитой в Самборе был расквартирован 6-й полк Стрельцов Подхаланских. В этом полку служили два деда моей жены и другие её родственники. Кто-то из них принимал участие в штурме Монте Кассино, кто-то закончил свой жизненный путь в советском плену, кто-то в доме для инвалидов войны. Я выступил на открытии памятника. Поблагодарил тех, кто нас пригласил, а также всех тех, кто был причастен к этому событию. 29 июня 2008-го года в селе Дубляны, в пятнадцати километрах на юго-восток от Самбора, установили памятный знак, увековечивший подвиг солдат этого полка, которые в конце сентября 1939-го года приняли здесь неравный бой с фашистскими захватчиками. Мы с женой присутствовали на открытии.

Три свечи.

Я родился в начале второго десятилетия двадцатого века, в Восточной Галиции – в местности, которую обычно называют Прикарпатьем. В то время она входила в состав Австро – Венгерской империи. Наше маленькое красивое горное село Залюкице. Лежало в долине, разделённое пополам небольшой горной речкой.

Люди, живущие в этом селе, говорили на смешанном диалекте: польского, украинского, словацкого языков. Они называли себя «бойками», исповедуя в большинстве своём греко - католицизм. Но мои родственники не относились к ним.

В середине 19 века четыре семьи металлургов – сталеваров приехали в это красивое горное село из небольшого городка Тешин, стоящего на самой границе современной Польши и Чехии². Эти люди хотели наладить здесь сталелитейное производство, используя те горные руды, которые были в этой местности... Среди них были и мои предки.

Из этой затеи ничего не получилось, и все переселенцы остались в селе, живя тем же, что и люди, которые их окружали. Их дети пережились и среди этих детей были мои мать и отец. Так вот и стало Прикарпатье моей Родиной.

Деду пришлось поменять профессию – он стал лесником. Вслед за ним – лесником стал и мой отец. Первую мировую войну я не помню. Лишь отголоском прокатилась она по нашим местам. В 1914 году в Австро – Венгерской империи усилились национально – освободительное движение. Юзеф Пилсудский начал формировать свои первые легионы, вырастающие из физкультурных команд. Эти люди надеялись, что стареющий Австро – Венгерский император разрешит создавать в своей империи сильные армии, состоящие из одних только поляков или украинцев. Это была глупая затея – ни один правитель мира не захочет иметь на своей земле чужую и сильную армию. Поэтому и созданные в составе армии Австро- Венгрии– украинские национальные части не имели никакого реального значения.

В самом начале войны одно из таких импровизированных подразделений попыталось остановить наступление русских войск. Это была самоубийственная затея – их хватило на несколько минут, после чего они были сметены лавиной наступающей

² 1.10.1918 года - в Цешинском княжестве образовался национальный польский совет, объявивший 30.10.1918 о возвращении этой территории Польше. Пшибыльский А. «Войны польского империализма 1918 - 1921» М. 1931 стр.50-51.

армии. Это случилось на соседнем перевале, километрах в пяти от села.

Русские пробыли у нас недолго. Как говорили потом наши односельчане: «Москали пришли и ушли». Они двинулись дальше, на город Борислав. Затем казаки подожгли всё нефтепромыслы и отступили на свои старые позиции.

На жизни села это мало отразилось. Но мясорубка войны требовала всё больше сырья. наших мужчин начали забирать на фронт. Не миновал этой участи и мой отец. Не знаю, повезло ему или нет, но он оказался на Австро-Итальянском фронте.

Он ходил в атаки, сидел под обстрелом в окопах, был ранен в ногу. Но ему повезло избежать «запаха горчицы» - он не попал под ипритные снаряды³. После тяжёлого ранения, его демобилизовали и отправили домой, где ничего не изменилось.

Но пришел ноябрь 1918 года, и на сельской сходке было объявлено, что Австро-Венгрия, Германия и их союзники капитулировали перед странами Антанты. «Мировая война» (как её называли тогда) – завершилась. Тогда никто не мог представить, что после 1945 года её будут называть «Первой Мировой»...

Те из сельчан, кто остался жив – начали возвращаться домой, принося с собой диковинные рассказы о пережитом и непривычные, невиданные в наших местах вещи. Среди таких «новшеств», в нашем селе, а возможно и во всей Галиции – были самогонные аппараты. Их привезли те, кто вернулся из русского плена.

После капитуляции Германии и её союзников – по всей Восточной Европе начался передел земель и территорий. Образовывались новые государства, гремели гражданские войны. Возродилась Польша, образовались Чехословацкое, Венгерское государства.

В это время – на нашей территории украинские националисты провозгласили Западно-Украинскую Народную республику⁴. И

³Иприт – отравляющее вещество кожно-нарывного и общетоксичного действия. Технический иприт – имеет слабый запах горчицы. Впервые применён немцами в ходе Первой Мировой Войны (1914 – 1918) у г. Ипр (Бельгия), откуда и получил своё название.

⁴18.10.1918 года – был создан Украинский Национальный совет во главе с Е. Петрушевичем, провозгласивший Западно-украинскую народную республику (ЗУНР).

между легионерами Пилсудского и «сечевыми стрельцами» (Так называли себя бойцы украинских формирований) – начались вооруженные столкновения. Это продолжалось несколько месяцев. Легионеры Пилсудского смяли «сечевых стрельцов» и те начали отступать в направлении Киева. Там их остатки влились в армию А. И. Деникина, а после его разгрома – в состав Красной Армии. Наше же Прикарпатье – стало частью Польской республики⁵.

Наступил мир. Люди начали возвращаться к нормальной жизни. Но эта передышка была коротка. Уже летом 1920 года – по нашим местам покатила очередная война – на этот раз Польско – Советская. Снова пошли на фронт наши мужчины...

Но эта война не затянулась, закончившись осенью того же года. Похоронок пришло мало и про неё стали забывать.

Мой отец хотел, чтобы я получил образование – я был единственным сыном в семье, а сестёр у меня было трое. Сначала я ходил в сельскую школу, где не было ни книг, ни учебников. Как и все остальные ученики – я запоминал уроки на память. В своей же сумке (Её у нас называли торбой) – я носил из дому пару поленьев – для протопки печей в классах в холодное, зимнее время.

По окончании начальной школы – отец отдал меня в гимназию, которая находилась за несколько километров от нас.

Промышленность в наших местах была едва развита. Только к этому времени был заложен первый нефтеперегонный завод.

Главным богатством наших мест - был лес. Сельское хозяйство – приносило мало пользы в наших горах. Жили просто, если не сказать больше. Мы ходили в домотканой одежде. Летом же мы ходили босиком, надевая хорошую обувь только идя в костёл или на праздник. Жили в основном, огородами, молоком и молочными продуктами. Мясо, колбаса – была на наших столах только на Рождество и на Пасху.

Деньги же – наши крестьяне получали, только продавая лес в городе. Нам было проще – ведь наш отец был лесником и получал государственное жалование. Иногда он тоже продавал немного

⁵М. И. Мельтюхов «Советско-польские войны» М. стр.18 2001г.

леса – чтобы оплатить мою учебу. Для нашего села, мы были вполне обеспеченным семейством.

Остальные же сельчане жили тяжело и многие уезжали на заработки в разные страны. Некоторые добирались даже до Бразилии. Но большинство работало во Франции или Германии, как в странах богатых и развитых. Кое-кому из сельчан, исповедующих католицизм, удалось устроиться на нефтепромыслы, едва только начавшие добычу отличной карпатской нефти.

Но в наших горах таилось ещё одно богатство, о котором тогда ещё особенно никто не задумывался – наша минеральная вода, которую называли «Нафтуса».

Но туда никто не торопился вкладывать деньги и знаменитые в будущем курорты Трускавца и Сходницы – были мало кому известны.

Но время шло. Я уже не был мальчишкой. Наступал год моего призыва в армию - 1934. Для большинства сельских парней – армия была единственным окном в большой мир. Здесь они могли увидеть другую жизнь, несравнимую с простым и убогим деревенским бытом.

К этому времени – в наших деревнях всё еще не было ни электричества, ни радио. Здесь не было автомобилей, а поезда ходили далеко за нашими горами.

Но у нас в доме был даже водопровод: Дом стоял у горы, с которой стекал ручей. От него был сделан деревянный желоб, по которому вода текла в дом, где был и кран и раковина. Был даже сток для грязной воды.

У других деревенских семей – не было даже этого. В то время на селе жилось не богато. Сельское хозяйство не давало ни какой прибыли. Селяне работали, чтобы работать. Потому-то и рвалась на службу деревенская молодежь.

А если повезет – то получить в армии даже профессию...

Тогда можно было бы после службы остаться жить в городе. Я очень переживал, что меня могут не признать годным к службе,

здоровье должно было быть только отличным. Отбор был строгий и его проходил один из десяти – не больше. И этот шанс на другую жизнь – оказался моим. Я оказался годен.

Меня призвали в Горнострелковые войска, и так как я окончил гимназию – сразу направили в «Школу подофицерскую» - школу младших командиров Войска Польского.

Служить я очень хотел и старался, так как думал остаться на сверхсрочную службу. А если повезет – то и поступить в офицерское училище. Об этом мечтал я, мечтали и многие деревенские парни, надевшие военную форму. Ведь в армии хорошо кормили, хорошо одевали и обували, да еще и платили денежное довольствие. Ты мог быть самостоятельным и не сидеть на шее родителей.

После первых недель безупречной службы я получил первое поощрение – кратковременный отпуск. Мой шестой полк, (Стрельцов Подхаланских) был расквартирован в городе Самбор. В сорока километрах от дома. Накупив подарков сестрам и родителям – я приехал домой. Мне были рады. Родители пригласили соседей, и веселье заполнило дом.

Всем было весело, после первой долгой отлучки из дома – было столько тем для разговора! Среди гостей – оказался и один из сослуживцев моего отца. Это был средних лет мужчина, немало повидавший в жизни. Мы поговорили про армию, он вспомнил свою службу на советско-польской войне 1920 года. Затем мы выпили ещё. И утомившись рассказывать о своих подвигах на войне – он вдруг неожиданно предложил мне посвататься к сестре его жены. Он объяснил мне, что та недурна собой, работающая, но родом из небогатой семьи и приданого у неё нет. И что она будет мне очень благодарна. Уже изрядно выпив, он начал рассказывать, что и его жена так же потакает ему во всем, что в хате он ясновельможный пан, что...

Я уже не слушал его болтовню про его собственные подвиги и достоинства, но мысль о женитьбе – запала в меня крепко. Наутро

я переговорил с моими родителями. Они согласились со мной и послали сватов к этой девушке. Я пришел к ним в хату, и девушка понравилась мне. Сговор прошёл успешно, и это изменило мою судьбу.

Ни о какой сверхсрочной службе не могло теперь быть речи. Мы договорились. Что в положенное время я демобилизуюсь, и мы сыграем с ней свадьбу. С этим решением я приехал в часть. Но уже через неделю я затосковал по своей невесте.

Я обратился к начальнику подофицерской школы – офицеру в возрасте, но ещё крепкому и не старому. Он много пережил на своём солдатском веку. Начав свою службу ещё в русской армии, он прошёл вместе с ней все войны, начиная с русско-японской. Как старого служаку, его отличало особое, почти отеческое отношение к курсантам.

Я надеялся на его помощь, но он просто сотворил маленькое чудо для нашей будущей семьи: по его приказу мне дали жалование за несколько месяцев вперед и разрешили жениться.

Свадьба прошла весело. Я был счастлив и моя жена, думаю, тоже. Теперь я считал дни об окончании моей службы. Незадолго до увольнения в запас у меня родился первый ребенок – дочь. После того, как я возвратился к жене и дочери из армии. Отец устроил меня работать лесником, как и он сам. Но делится со мной, лесом и землей он не стал. Земли у нас было не так много: 11 гектаров леса и 4 гектара пахотной земли. Сказал так: «Поживешь со своей семьёй, а там посмотрим». Поэтому нам с женой пришлось переехать в дом к тётке моей жены.

У них была добротная хата, построенная лет тридцать назад. Единственный их сын погиб, как тогда говорили на «Великой войне». Нас они приняли с радостью. Вместе с нами они растили наших детей: через год у меня родился сын. Время шло незаметно. Я жил той же крестьянской жизнью, что многие поколения моих земляков до меня. Все думы были лишь о том, чтобы одеть и прокормить семью, а о прочем – думать было почти и некогда.

В семье всё было хорошо, дети росли здоровыми, но денег – не хватало всё больше. Родственники жены быстро старели, и

уже не могли работать как раньше. Нам всё больше приходилось содержать и их...

После долгих размышлений – я снова написал заявление о поступлении на сверхсрочную службу в Войско Польское. Шел 1938 год. В мире становилось всё тревожней. Германия откровенней претендовала на роль великой мировой державы. Всё жестче требовало правительство Гитлера пересмотра Версальского мира и восстановления Германии в границах 1914 года. Но наша Польша тоже желала вернуть то могущество и размеры, какими когда-то обладала Речь Посполитая.

Польша, Германия и хортистская Венгрия предъявили территориальные претензии к Чехословакии. Германия – претендовала на Судеты, Венгрия – на Закарпатье, а Польша – на чехословацкий город Тешин – родной город моих предков – металлургов⁶.

В Тешине все эти годы продолжала развиваться металлургия. Основанием для претензии Польши на этот город – было преобладающее польское население в данной местности. Почему меня тянуло в эти места? Может голос крови, может... Не знаю!

Но мне повезло – я не принимал участия в разделе Чехословакии... Наше правительство хотело придать вводу Войска Польского в Тешин возможно большую помпезность и внушительность. Были приглашены журналисты – как наши, так и зарубежные.

Кинооператоры снимали, как наш танк утюжил чехословацкие проволочные заграждения. Это был наш танк – с конструированный, построенный и собранный поляками, в нашей новой Польше, на польских заводах. Его называли 7-ТР (Семитонный танк польский, но его вес был девять с лишним тонн). Ни той, ни другой стороной не было сделано ни единого выстрела – чехословацкие войска покинули укрепления, не дожидаясь прихода поль-

⁶В январе 1920 года там проходили столкновения чехословацких и польских войск, прекратившиеся после вмешательства Антанты. В итоге 28.7.1920 года – конференция послов решила разделить эту территорию примерно пополам. Сам Тешин – был передан Чехословакии, получившей и часть польского населения. М. И. Мельтюхов «Советско-польские войны» М. 2001 стр.107

ской армии⁷... Кто думал тогда, чем обернется для нашей страны захват этого города. Но дело было сделано, и Тешин стал «мясом польским». Страна праздновала победу. Но незадолго до этих событий – наше правительство предъявило ультиматум Литве. Та, в свою очередь – попросила помощи в Лиге Нации и после её энергичного вмешательства – наше правительство отозвало свои требования⁸...

Но аппетит приходит во время еды, и в марте 1939 года следующей жертвой Германии стала литовская Клайпеда (По-немецки Мемель). Фюрер сказал – «Это наш город». Литовцы не посмели возражать и снова Гитлер добился своего без боя. Маленькие страны Европы всё больше боялись стремительно растущей германской армии.

Следующим же объектом территориальных притязаний Третьего Рейха стала моя родина – Польша. Ещё весной 1939 года – Германия предъявила ультиматум польскому правительству. Гитлер требовал совершенно не возможных и неприемлемых для любой страны уступок. Наше правительство ответило отказом на эти наглые требования. Польша заручилась поддержкой Англии и Франции, обязанных теперь, в случае нападения Германии вступить в войну на стороне Польши ...

Но в нашем селе не знали об этом. Газеты сюда приходили редко, а радио у нас в селе не было. В это лето у меня в семье родился третий ребенок. Ему было около двух недель, когда ночью раздался стук в нашу дверь. На пороге стояли наш сельский полицейский и вуйт⁹. Мне вручили повестку. Я был обязан прибыть на армейский сборный пункт, на следующий день. Офици-

⁷На границе с Чехословакией поляки развернули отдельную оперативную группу «Шлёнск», под командованием генерала Бортновского. В её состав входила 4, 21, 23 Пд, Великопольская КВбр, 10-я механизированная бригада. К 1.10.1938 года группировка насчитывала: 35 966 человек, 270 орудий, 103 танка, 9 бронемашин и 103 самолётов. Район и город Тешин (80 000 поляков и 120 000 чехов) был передан Польше. Zgorniak M. Op. cit. S.284, 287-289.

⁸Граница Польши с Литвой – являлась, по сути, демаркационной линией между войсками Польши и Литвы. «Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1938-1941» М. 1999 ср.96

⁹Гмина – это начальная единица административной власти. В сельских гминах – председатель называется вуйт, в небольших городках – бурмистр.

ально мобилизация ещё не была объявлена, но наше правительство вело её скрытно. Ещё сначала лета некоторые молодые люди уже потихоньку исчезали из села. Говорили, что они выехали на заработки, но всё это была не правда. Они уже были в казармах и не могли подать оттуда вестей¹⁰.

Утром я попрощался с женой и детьми, не ведая, что ухожу от них навсегда. Родич жены подвёз меня на своей телеге. Ехать нужно было километров сорок. Ехали не спеша. По дороге мы говорили о жизни. Я надеялся, что на этот раз останусь в армии надолго. Мне не хотелось больше работать лесником. И ни о какой близкой войне с немцами мы и не думали¹¹.

Правда, спустя много лет после этой поездки – он рассказывал моей родне, что предлагал мне прыгнуть с телеги. Спрятаться, отсидеться, а потом вернуться домой. Что на войне у человека нет будущего. Дезертировать. Всё это чушь. Никто тогда не мог представить, что наше государство рухнет так стремительно. Мы, польские солдаты, верили в нашу страну и нашу армию. Мы радостно пели в строю:

«Наш маршал Смиглы-Рыдз – герой.
Наш маршал боевой.
Никто нас не побьёт.
Ничто не отберет.
Пока с нами Смиглы, Смиглы-Рыдз!»

Что ни одна пуговица с мундира польского солдата не будет отдана ни кому. Что сильна наша армия, а кавалерия – лучшая в мире...

Да, в польской кавалерии служило несколько чемпионов мира по конному спорту – но ведь они были только самыми сильными

¹⁰Скрытое мобилизационное развертывание польских войск, начавшееся 23.3.1939, затронуло: четыре Пд и одну Квбр. 13.8.1939 – была объявлена мобилизация ещё 9 соединений. С 23 – го числа – началась скрытая мобилизация основных сил. 31.8.1939 – была официально объявлена мобилизация польских ВС. Jurga T. “Obrona Polski” 1939. стр.39

¹¹Бек, министр иностранных дел Польши в 1939 г. полагал, что любые действия Германии – «это блеф Гитлера», он старается запугать Польшу и тем самым вынудить её пойти на уступки. Гитлер не начнет войну.

Мосли Л. Указ. соч. 258-259.

спортсменами¹². И в предстоящей войне – этого оказалось мало. Сила, умение и доблесть польского солдата оказались недостаточны пред той массой современной техники, которую обрушила на нас гитлеровская Германия, а затем и Советский Союз в том страшном сентябре 1939 года...

Я прибыл в те же казармы, что и в 1934 году. Наш шестой полк Стрельцов Подхаланских включили в 22-ю горнострелковую дивизию, погрузили в железнодорожные эшелоны и передислоцировали в район западнее Кракова.

Здесь, в лесу – мы и встретили тот самый первый рассвет Второй Мировой Войны.

Нам повезло – мы не были в первой линии обороны. День 1 сентября был для нас таким же мирным и солнечным, как предыдущий. Нас не бомбили и не обстреливали. Мы слышали вдалеке какой-то грохот, но не предавали ему значения. «Это гроза» - думали мы.

Днем полк был построен на лесной поляне. Командир зачитал обращение нашего Правительства к народу. Так война началась и для нас. Четвертого сентября полк получил приказ, построиться в походный порядок и начать движение. Вместе со всей дивизией мы двинулись в путь, но только не на запад, а на восток.

Таков был приказ Командования. А приказы выполняют, а не обсуждают. Где-то в середине дня четвертого сентября, идя в походной колонне, мы первый раз увидели фашистские самолёты. Это были монопланы – самолёты лишь с одной парой крыльев. Я ещё не видел машин таких конструкций... Нам говорили, что наш «сокол» Р-11, был одним из самых скоростных, считался в числе лучших истребителей мира. Но это было в 1934 году. Но, как оказалось, в 1939 году он уже уступал в скорости даже немецким бомбардировщикам.

И сейчас, на наших глазах – они начали свое чёрное дело. Километрах в десяти от нас – девятка «Ю - 87», которые потом стали называть «Штука» - делали так называемую «карусель».

¹² Хенсон Болдуин. «Сражения выигранные и проигранные» М. 2002 стр.22

Подобно коршунам – они в пикировании падали с высоты, ревя включёнными сиренами. На выходе из пике они бросали бомбы и снова подобно коршунам взмывали вверх... За лесом мы не видели, того, что творили они на земле. Мы не видели страданий их жертв и не слышали криков. Только грохот рвущихся бомб и густые клубы чёрного дыма.

Потом мы узнали, что они бомбили артиллерийский полк. После этой трагедии – наше командование отдало приказ двигаться только ночью. Ранним утром восьмого сентября наш полк после ночного марша готовился к привалу. Было туманно. И тут над нами очень низко пролетело несколько самолётов. И мы увидели на них белые кресты – это фашисты возвращались с бомбардировки нашей родной Варшавы, и они не обратили на нас внимания. Но за ними, ещё ниже – летели какие-то другие машины. Их было с десятков. И многие в нашем полку без команды, приказа начали стрелять по этим самолётам из всего, что могло стрелять. Они вкладывали в этот огонь всю ярость и боль нашего отступления и позора. Фронт трещал, а мы шли от него и беженцы с презрением смотрели на нас. Мы все ещё не сделали ни единого выстрела по врагу, и вот, наконец! Вспыхнул и загорелся один, другой... Лица моих однополчан светились радостью, многие обнимались и прыгали от радости как дети. Многие плакали. Нам казалось, что наконец-то и мы что-то сделали для победы.

Потом историки напишут, что польская пехота часто открывала огонь по своим самолётам. Но это будет потом. А тогда мы не знали, что это были наши...¹³

Все мы хотели воевать, как и наш командир дивизии. Но по приказу – мы продолжали отходить в составе армии «Краков», прикрывая её северный фланг. И здесь – командир дивизии упрямил командование армии «Краков» атаковать неприятеля самостоятельно. Суть его была в следующем:

22-я дивизия должна была атаковать небольшое немецкое тан-

¹³8.9.1939 года – истребители P-11 III2 дивизиона армии «Краков» преследовали группу немецких бомбардировщиков He-111, и попали под обстрел своих войск. Четыре самолета были сбиты. «Операция Вайс». Минск. 2003. стр. 239

ковое подразделение в городке Буско и разбить его. А дальше...¹⁴ Не известно что. Никаких дальнейших планов.

Мы отступали. Снабжение прекратилось, и ели то, что удавалось достать самим: где накопаем картошки, где накормят крестьяне, где удастся отрезать кусок от убитой коровы или лошади.

В ночь на девятое сентября командир роты приказал нам с рассветом сдать наши шинели и ранцы на ротные обозные телеги. Утром же – нам объявили о предстоящей атаке. Ещё через полчаса наша артиллерия начала артподготовку. Стреляло одно, может два орудия. Артиллеристы стреляли торопливо, беспорядочно. Разведка почти не велась и я не думаю, что огонь был губителен для врага.

После артподготовки командир нашей роты отдал приказ. Мы пошли. Впереди нас была небольшая высота – холм.

Мы не бежали – всё-таки мы были горными стрелками, а не пехотой. Никто не стрелял по нам. Рота быстрым шагом поднялась на вершину холма. И тут – впервые за вторую неделю войны, я так близко увидел врага... Это была мотоколонна нацистов. Она шла неспешно и беспечно, без боевого охранения, как если бы дело было где-нибудь в Германии. Нам повезло - танков в ней не было.

Перебежками мы быстро спустились вниз. Метров за сто пятьдесят рота залегла и открыла огонь. Они не заметили нас и остальное пошло уже как на полигоне.

Единственное в полку противотанковое ружьё – было в руках моего друга Блажея¹⁵. Это был здоровенный двухметровый парень, бывший до войны лесорубом. Он плохо представлял возможности своего оружия, которое так нам пригодилось теперь.

¹⁴ Буско – небольшой город в Свентокшиских горах.

¹⁵ Противотанковое ружьё – тяжелое нарезное ружьё. Предназначенное для борьбы с танками и другими бронированными целями. Калибр п\р – 7.9-20.0. мм. В сентябре 1939 года с польской стороны – в боях приняло участие 200 противотанковых ружей. Остальные, остались на складах из-за большой секретности и были захвачены немцами или Красной Армией. «Операция Вайс» Минск 2003 стр. 16.

Блажей выстрелил в головной немецкий грузовик и попал в мотор. Машина встала. Одновременно вспыхнул под огнем наших пулеметчиков и замыкающий колонну грузовик. В ещё один грузовик попала мина, выпущенная из нашего миномёта. Взрыв был очень силен – похоже, в грузовике были боеприпасы. Среди немцев началась паника, и командир поднял нас в штыковую атаку. Я и мои товарищи скорым шагом пошли вперёд. Штык моего карабина ослепительно сверкал и как же мне нравился его блеск! Я увидел, наконец, своего врага в лицо. Это был здоровый немец, с закатанными по локоть рукавами. И в его руках тоже была винтовка. Я не стал колоть штыком – просто нажал на спуск карабина. Тот дернулся назад и осел на землю. А я побежал к середине колонны. Следующий гитлеровец попытался сделать выпад штыком в мою сторону. Но я вырос в горах. В молодости я участвовал во многих сельских потасовках. Дрались, село на село, улица на улицу. Были кулачные бои, но случалось драться и кольями. Я легко отбил его штыковой выпад прикладом своего карабина и снова нажал на спуск. Больше я ничего не успел сделать в том бою... Ведь всё продолжалось минут десять или чуть больше.

И тут стал ощущаться сильный запах гари: пылали машины, пахло горелым мясом, жженой резиной. Раздавались стоны. Наши солдаты собирали немецких пленных, бегали санитары – вперемешку и наши и немецкие. Мы не трогали их, хотя они помогали только немцам. Наши же санитары – не делали разницы меж изувеченными и умирающими людьми.

Пленные курили, кружком сидя на земле и у нас не было злобы к ним. Мы были великодушны в минуты этой нашей первой победы, пришедшей к нам на девятый день войны.

Мы отдышались и перекурили. Затем рота двинулась дальше. Войдя освободителями в маленький городок, мы удивились: нас никто не встречал и не приветствовал. Жители прятались в подвалах и не выходили на улицу. Рота остановилась в центре городка – на рыночной площади.

К нам подошли ксендз и бурмистр. Они стали просить нас

поскорее покинуть город, показывая в небо, где кружил немецкий самолёт - разведчик. Они боялись что, заметив польские войска в городе – он вызовет бомбардировщики, которые разбомбят нас вместе с их городком.

Наш ротный выслушал их, посмотрел на небо и приказал нам отойти в городской парк, под деревья. Через парк текла небольшая безымянная речка, через которую был переброшен широкий и прочный каменный мост. На другом берегу – плотно, густо росли молодые ели. Тут мы и отдыхали, ожидая нового распоряжения. К нам подошли местные ополченцы. У них были охотничьи ружья, а на поясах висели бутылки с какой-то гадостью. Горлышки были обмотаны тряпками, к ним же были привязаны спички и чирканы.

Наши солдаты начали смеяться и говорить, что «сейчас мы поьем самогонки», но они сказали, что в бутылки залит бензин, а для чего – скоро будет видно¹⁶. Это было весьма кстати, так как у нас в роте совсем не было противотанковых гранат. Те, что были у нас – годились против пехоты, но против танков – они были почти бесполезны. А у единственного, как я говорил, нашего противотанкового ружья – было мало патронов.

Мои товарищи беспечно раскинулись в траве, наслаждаясь последними тёплыми днями осени. Нам и не думалось, что немцы могут контратаковать нас так скоро.

... Сидя на пригорке, я вдруг увидел, как песок рядом со мной – запрыгал маленькими фонтанчиками. По нам стреляли. Я быстро упал на живот и откатился в сторону, достал саперную лопатку, сделал небольшой бруствер и открыл огонь. Тоже сделали мои однополчане. Наш винтовочный огонь усиливался. Но толку от этого было немного – немцы вели огонь из еловых зарослей на другом берегу и мы не видели их, стреляя наугад.

Зато мы хорошо слышали свист пуль и нарастающий рев танковых моторов. Через несколько минут – на мосту через речку показался танк. Настоящий средний немецкий танк типа Т-IV, а

¹⁶ Бутылки с горючей смесью стали атрибутом уличных боёв. Впервые были широко использованы во время Гражданской войны в Испании. Хенсон Болдуин «Сражения выигранные и проигранные» М. 2002стр.482

не танкетка, каких мы много видели на ученьях. Пушка его выстрелила, снаряд пролетел над нами, не причинив никакого вреда. Но вот от его пулёмтного огня нашей роте было много хлопот. Наши пули – свинцовым горохом сыпались с немецкого танка, не причиняя вреда. Он без помех проехал через мост, но тут произошло чудо. Ополченец, из числа присоединившихся к нам – бросил свою бутылку с бензином в танк и попал ей на моторный отсек. Танк загорелся, закрутился на месте и закрыл дорогу через мост. Из горящего танка выскочили танкисты и с воплями покатались по земле, пытаясь сбить пламя с горящих комбинезонов. Мы не стреляли по ним. Мы были слишком честны, чтобы добивать раненых. Мы были солдатами, а не убийцами. Эти немецкие танкисты потушили друг друга и, перейдя речку вброд, убежали в ельник.

Другие танки – не торопились вперед, но теперь в атаку двинулась пехота. Они, стреляя, перешли реку и были уже так близко, что я начал бросать ручные гранаты. После взрыва второй – я увидел в нескольких метрах от себя вражеского солдата, лежащего сапогами вперед. Большие медные гвозди на его сапогах – блестели золотом в последних лучах уставшего солнца.

Атака захлебнулась. Немцы отошли на свой берег, а наш командир воспользовался передышкой, отдал приказ об отходе. Пройдя несколько километров лесом, мы остановились на привал. К нашей роте присоединился штаб нашего полка, во главе с командиром. Здесь ротный сделал переключку и неожиданно вызвал меня из строя. Рядом с ним стоял командир полка. Перед строем нашего подразделения он объявил меня, подофицера – командиром 2-го взвода нашей роты, так как подпоручик, командовавший нашим взводом – не оказался в строю. Затем командир полка попросил мои документы и собственноручно вписал в них мою новую должность, сказав, что произведут меня в офицеры, когда это позволят обстоятельства. В моём взводе осталось четырнадцать человек.

Мы не знали ещё, не могли знать, что наша дивизия, далеко оторвавшаяся от основных сил армии «Краков» - была с тыла атакована 27-й немецкой пехотной дивизией, при поддержке 5-й танковой дивизии. Командир нашей дивизии потерял управление и пытался застрелиться. Дивизия распалась на мелкие группы. Очень многие попали в плен, но некоторым подразделениям (в том числе и нашему) – удалось прорваться из окружения.

Одиннадцатого сентября наша рота вышла в расположение польских частей в районе села Осека. После проверки документов – нас разметили на отдых.

Здесь я увидел, что ещё не всё потеряно. В селе стояла пехота, кавалерия, много артиллерийских частей. У околицы стояли замаскированные машины с радиостанциями, а так же танкетки, которые в нашей армии называли разведывательными танками. Привычные нам пулемёты – были уже заменены на танкетках 20 – миллиметровыми орудиями... Ещё жива была наша Польская армия, и ещё было чем сражаться с врагом могучим и безжалостным.

Нашу часть временно включили в состав 55-й пехотной дивизии. Мы прикрывали переправы, по которым армия «Краков» - переправлялась на восточный берег Вислы. Наша рота получила участок обороны. Я определил сектор обороны взвода, и мы начали торопливо окапываться. Мы понимали, что атаки врага не заставят себя ждать.

Очень скоро, мы услышали растущий треск немецких мотоциклов. Вскоре мы увидели их. Очевидно, они уже считали нашу армию несуществующей. Они были уже не просто спокойны, как те, которых мы били девятого сентября. Они были веселы, они горланили песни, играли на губных гармошках... Мы уже готовились открыть огонь, но в этот миг открыла огонь артиллерия. Наша артиллерия. Возможно несколько артиллерийских дивизионов. Это был настоящий огненный вал. Я ещё не видел такого арналета с польской стороны

Немецкие походные колонны смешались: мотоциклы насаки-

вали друг на друга, взрывались и горели бронетранспортеры, горело всё. Земля дрожала от взрывов и по воздуху всё гуще плыл уже знакомый нам запах гари – запах беды и военного лихолетья...

А потом мы встали и пошли в атаку! С нами поднялись, и наши соседи с обоих флангов и мы увидели, как нас много. И тут я услышал слова нашего гимна:

... пока мы живы,
Польша не умрёт...

Я подхватил его, и слёзы выступили у меня на глазах – слёзы радости. Мы бежали вперёд, и наши растерянные враги остановились и побежали на запад. Мы преследовали их, и гимн нашей Родины катился над полем. Сейчас нам казалось, что нет ничего невозможного. Это звонкое пленяющее чувство победы легко и просто несло нас по полю...

Но это было так недолго и мимолетно! Километра через два или три – теперь уже перед нашими цепями вырос такой же огненный вал огня немецкой артиллерии. Сначала мы залегли, а затем отступили в свои окопы. И приготовились к новым атакам врага. Но их не было. Убедившись в прочности обороны – немцы воздержались от лобовых атак.

К вечеру нам приказали отступить и, выставив боевое охранение – мы отошли к Висле. Подойдя к такой большой реке, я почувствовал что-то подобное страху – я уже не раз видел смерть и кровь, огонь и грохот, но я жил и рос в горах. Наши речки были маленьким и мелкими, хотя и стремительными. Я почти не умел плавать. К тому же мы не знали, как будем переправляться – по мосту или на лодках. Но саперы ещё не подорвали мост, и мы спокойно перешли по нему через так страшившую меня Вислу.

Гитлеровская бронированная армада все больше пожирала землю Польши.

Я не знаю, сколько километров мы прошли лесами за следующую неделю... Я не знаю, сколько километров было пройдено в эти дни. Мы были солдатами – привычными и крепкими в любой работе.

Примерно 18, 19 сентября мы оказались в районе Томашува – Любельского. Наша рота вместе с другими частями армии «Краков» стояла на привале в лесу. Разжигать костры было запрещено. Командование опасалось немецких воздушных разведчиков. Немецкие войска, превосходя нас техникой, постепенно обгоняли наши отходящие части, постоянно вися на наших флангах. Единой линии фронта уже не существовало и наше положение быстро ухудшалось. Поэтому мы с такой тревогой слышали растущий гул танковых двигателей. Но это были наши танки. Они шли ночью с зажженными фарами. Это были пушечные однобашенные машины «7ТР» – новейшие танки польского производства. Они могли на равных сражаться со всеми типами танков, которые имела на вооружении немецкая армия. Но в сентябре 1939 года – в Войске Польском их было всего 133 штук. Танкисты махали нам руками из башен, и мы радостно отвечали им. Ребята начали считать танки – их было двадцать два.

Вскоре нам объявили приказ: Мы должны были атаковать и выбить противника из города Томашува – Любельского. Ночная атака началась с артиллерийской подготовки, с рева и грохота танков: впервые в ходе войны, которую потом назовут «Второй Мировой» - произошло встречное танковое сражение. Десятки немецких и польских танков сошлись в жестоком бою. Наши польские танкисты опрокинули в нём врага и на плечах его ворвались в город. Но именно этого и не надо было делать: удел танка – бескрайние поля и широкие дороги, а не тесные улочки городов. Немцы подтянули артиллерию, и потеряв маневр внутри города – наши танки откатились из города, неся большие потери. Штурм города продолжили мы – пехотинцы. Мы продвинулись до центра города, но были остановлены плотным пулемётным огнём противника. Не добившись успеха польская пехота через пару часов получила приказ оставить город. За ночь мы произвели перегруппировку и в тот же день вечером возобновили штурм. Но новый штурм повторил в точности предыдущую атаку: мы снова залегли в центре, не в силах продвинуться дальше и снова получили при-

каз на отступление. Командир нашей 55 –й дивизии отказался от продолжения боя и решил прорываться в направлении Львова. Это было 20 или 21 – го сентября.

Но было уже поздно: мы не знали, что ещё 17 сентября – Красная Армия перешла восточную границу Польши на всем её протяжении. Дальнейшее сопротивление было бессмысленно. Наш Верховный главнокомандующий отдал приказ:

«Советы вторглись. Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию кратчайшими путями. С Советами боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы, Модлина и Хеля, которые должны защищаться от немцев – без изменений»¹⁷

Но командир нашей дивизии попытался прорваться к Львову и помочь ему, ничего не зная об этих приказах. Командование 55-й дивизии – надеялось, что фронт под Львовом стабилизировался.

Но все это было уже слишком поздно: не желая капитулировать перед немецкой армией – Львов 21 сентября капитулировал перед советскими войсками. 22 сентября – в районе веси Улув авангард немецкой армии «Юг» вышел на пути отхода 55-й дивизии. Снова был встречный бой и прорвавшись, мы заняли оборону в перелеске. Затем началось что-то непонятное. Часами тянулось ожидание, ждали приказа на марш или на бой, но приказы не приходили. Мы не знали ещё, что командиру дивизии стало известно о падении Львова и вторжении Красной Армии.

Я увидел, как небольшой отряд польских кавалеристов выехал на встречу немцам. Я попросил бинокль у командира роты и увидел в руках первого всадника флаг. Белый флаг. Я отдал бинокль командиру и указал ему на это. Я спросил его, что будет дальше, но он знал об этом не больше меня. Мы стали ждать, так как ничего другого нам не оставалось. Вскоре на дороге, ведущей на запад, показалась колонна наших польских солдат под белым флагом, все при оружии. Мы, взводные и командир роты, вышли на дорогу и переговорили с командиром этого подразделения. Он

¹⁷Grzelak C. K. Op. cit. S.214-223

сообщил нам, что командир 55 –й дивизии решил распустить свою часть, но так как наша рота не была официально включена в состав дивизии – то наш ротный волен сам решать, что делать дальше: воевать ли, капитулировать, уходить ли за границу или распустить солдат по домам. Мы вернулись к роте. Командир спросил мнения нас - его взводных. Когда очередь дошла до меня – я, не ведая о приказе Главкомандующего, предложил идти на юг, в Венгрию. Я не боялся смерти, но инстинкт самосохранения начал просыпаться во мне.

Командир промолчал. Он вывел нас на дорогу. Рота построилась в походную колонну, и мы пошли. Пошли на юг – это получилось как-то само собой. Мы просто шли. Флага в нашей колонне не было – ни польского, ни белого. А по дороге навстречу нам ехал немецкий мотоцикл. Они не стреляли – и мы тоже. Мотоциклисты остановились в голове колонны. Один из них на польском языке спросил ротного, кто мы и что мы собираемся делать: воевать или сдаваться?

В ответ наш командир расстегнул кобуру и сдал личное оружие. На этом оборонительная война 1939 года для меня закончилась.

Нас разделили: офицеров направили в офицерские лагеря. Как подофицер – я оказался в обычном лагере польских военнопленных. Других лагерей у немцев ещё не было. Мы очутились в Восточной Пруссии. Вскоре группу, в которой оказался и я – определили на работу к немецкому фермеру. В немецких хозяйствах всё больше не хватало мужских рук – война росла и ширилась как пожар... Но и теперь кто – то должен был должен пахать, сеять и убирать урожай.

Охрана привезла нас к бауэру и уехала. Но перед этим старший конвоя сказал нам, что в случае побега – каждый третий из нас будет расстрелян, а пойманный беглец или беглецы будут повешены¹⁸. Литовско-германская граница была недалеко, но никто

¹⁸Военнопленные: лица, входящие в состав вооруженных сил, ополчений, добровольческих отрядов и др. во время войны попавшие во власть неприятеля и задержанные им. Режим военного плена установленный приложением 4-й Гагской конвенции 1907 года и Женевской конвенцией 1929 года грубо нарушался фашистской Германией ВО Второй Мировой Войне (1939 - 1945).

не собирался бежать туда: в Литву уже вошла Красная армия, отбив всякую охоту к такому побегу.

Хозяин выделил для нас старый сарай. В нём было холодно, но всё же гораздо лучше, чем в лагере. На следующий день он вывез нас в поле, объяснил, что от нас требуется, и уехал по своим делам. Посоветовавшись – мы решили не работать. Мы посчитали, что работа на врага – ущемляет наше солдатское достоинство. Настало время обеда. Приехал фермер и, увидев, что ничего не сделано – оставил нас без обеда. Так продолжалось три дня: мы не работали, а он не кормил нас. Но при этом не бил и не ругался. На четвертый день несколько человек начали убирать свеклу. Увидев сделанную работу – немец оценил её и накормил нас по результатам. На шестой день все работали с утра до вечера и получили вполне нормальный обед и ужин. А хозяин? Он ел вместе с нами, из такой же тарелки, в которую кашевар накладывал из общего котла.

...Места, где я родился и вырос – в это время окончательно закрепил за собой Советский Союз. Там были проведены «выборы» за присоединение к СССР. Русские объявили, что чуть ли не все мои земляки решили жить в Советской стране. Эти бывшие польские территории – стали называться западной Украиной. Немцы тоже перекроили захваченную ими часть Польши, довершив её «четвёртый раздел»: часть они присоединили к своему «Третьему Рейху» (Как называли фашисты своё государство), а всю остальную территорию – объявили «польским генерал - губернаторством» сохранив в нём свой оккупационный режим¹⁹. СССР и Германия заключили между собой соглашение о взаимной передаче военнопленных польской армии, западной или восточных областей Польши. Это означало, что русские должны передать Германии польских солдат, родившихся на территориях, оккупированных Германией. Так же должна была поступить и Германия²⁰.

¹⁹ М. И. Мельтюхов «Советско-польские войны» М. 2001, стр.354

²⁰ В 1939 – 1941 годах Германии были переданы 43 054 человека, уроженцы Западной Польши, Германия же передала СССР 13 575 человек- уроженцев восточных польских воеводств.

До нас дошли слухи, что переданных в СССР польских солдат и офицеров – домой не отпускают, а везут в советские лагеря в глубине страны – до самого Урала и даже дальше. Семьи их – тоже подвергаются репрессиям, но каким – мы не знали. У меня осталась дома жена, трое маленьких детей, родители, а так же три сестры (К этому времени они все уже вышли замуж и уехали из села). Беспокоясь и опасаясь за них всех – я решил скрыть своё происхождение, чтобы не быть выданным русским. Я не писал им писем, боясь выдать себя почтовым адресом, и они ничего не знали обо мне. Жив ли я, погиб ли, попал в плен или ушёл за границу, как тысячи польских солдат – оставалось неизвестно для них²¹.

Летом 1940 года, под напором немецких армии, капитулировала Франция. На фронтах наступило недолгое затишье. В отпуск из армии, приехал молодой сын нашего фермера. Он был победителем. «... Сегодня наша – Германия, а завтра – весь мир!». Это был холёный и наглый пан, любивший смеяться широко и раскатисто. Он считал себя нашим господином, а нас – своими рабами, с которыми он волен поступать, как пожелает.

Через день после приезда – он увидел, как мы шли через двор на работу. «Победитель» заулыбался, а потом взял пастуший кнут и принялся без разбору бить нас – польских пленников, работающих на него.

Мы только отворачивались, закрываясь руками. Только свист бича, да довольный хохот, перемежаемый отборными немецкими ругательствами «сверхчеловека».

И тут – во двор выбежал его отец. С перекошенным лицом от ярости, он вырвал из его рук кнут и с силой швырнул на землю. И не заботясь о том, видим ли мы это или нет – широкой мужской ладонью он с размаху, ударил его по щеке.

Остановившись, мы смотрели, что будет дальше. А наш хозяин заговорил с ним резко и жёстко. Он яростно выговаривал сыну, что когда Германия вела первую мировую войну (Он так и сказал – «Первую!») – как и сейчас, она побеждала в начале. «Колесо

²¹Как ныне установлено, в 1939 – 1941 году – с этих территорий вглубь СССР было переселено 320 000 человек

поворачивается», сказал он. Победы сменились поражениями, продолжал он, твой отец попал в плен, как и они (он показал в нашу сторону), и он знает и помнит – каково быть пленным. Всё может стать на войне, и ты тоже можешь в один миг стать на место этих несчастных поляков. «Подумай хорошенько об этом» - закончил он и отправился дальше по своим делам. После этого случая – молодой барин уже не бил нас и даже старался избегать...

В июне 1941 года – немцы напали на своего союзника по 1939 года – Советский Союз. У нашего фермера был репродуктор, и я очень скоро узнал, что фронт откатывается на Восток. Прикарпатье – было оккупировано немецкой армией. Значит, подумал я, моим родственникам больше не грозят советские лагеря, и я могу дать знать о себе. Я написал жене и родителям. Что жив, здоров и нахожусь в немецком плену. Через пару месяцев мне пришло письмо из дому. Жена не могла поверить, что я жив. Она послала запросы в Красный Крест, где ответили, что я погиб в сентябре 1939 года. Рад был и отец, что я жив, хотя бы и в плену.

Время шло медленно, но не останавливаясь. Я продолжал работать у фермера, а в мире уже шел второй год войны. Письма из дома шли долго и не приносили особой радости. Сначала отец, потом жена – сообщили мне, что через девять месяцев, после моего ухода из дома у нас с женой родился четвёртый ребёнок – мальчик. Плен есть плен, и меня все больше тяготило, что я – крепкий, здоровый мужчина, не могу вернуться домой и ничем не могу помочь своей семье. Наши голодали, жаловались на бедность, которую ещё больше усилила война. Ещё больше меня томила неизвестность. В то небольшое свободное время, что оставалось после работы – я всё чаще усталое смотрел на бревенчатую стену.

Дела третьего рейха шли все хуже, Великая Война вводила из дома всё больше тружеников и работников. На их место теперь брали не только подневольных военнопленных: теперь с нами работали французы, голландцы, бельгийцы. Кого пригнали насиль-

но, кто приехал на заработки... Вся «Festung Europe» - как вещал нам по радио доктор Геббельс.

Я сдружился с пожилым поляком – работником, жившим не далеко от Львова. Он рассказывал, что в наших местах немцы – стараются поссорить меж собой украинцев и поляков, давая работу только украинцам. «Войне не видно конца» - говорил он – «Жизнь пройдет, и радости от неё не увидишь. Живи здесь и сейчас. Случай будет сойтись с какой паненкой из угнанных - живите. Война спишет». Но это коробило меня.

Годы шли, я старался беречь себя до возвращения в свой дом. Мысленно я спускался с горы, шёл через мост, делящий пополам наше село. Вот и наш дом, около которого так много дикой черешни. И дети бегущие мне навстречу. Я знал, что они сильно выросли за эти годы, но в моих мечтах – они оставались такими же, какими я видел их последний раз, когда они бежали за телегой, увозившей меня. Мысленно я пытался представить себе четвертого ребенка, но никак не мог это сделать...

Я писал жене, что бы она спокойно растила детей и ждала меня. А я - обязательно выживу на этой проклятой войне и вернусь домой. И мы все заживем, как жили до Войны – без страданий и голода, и всё будет у нас хорошо. Она отвечала мне такими же теплыми письмами.

Настало лето 1944 года и поражение Германии становилось очевидно даже для торговки на сельских базарах. Даже пленные знали, что немцы терпят поражения на всех фронтах и в рядах союзников – доблестно бьётся возродившаяся польская армия. Колесо поворачивалось!

...В это утро – годами заведенный порядок нарушился. После завтрака мы построились и двинулись на работу в поле. Мы пошли от того же сарая, в котором мы так и жили с 1939 года. И мимоходом оглянувшись – я очередной раз в жизни не смог догадаться, что больше никогда не увижу этот фольварк.

Вдали поднялся огромный столб пыли. Послышался гул многих моторов и скрежет гусениц. Шли танки. Они остановились,

и когда пыль рассеялась, мы увидели, что это совсем другие танки, не похожие на те, которые мы видели до сих пор. Они были гораздо крупнее и их орудия были непривычно длинны. Да и калибр их – был гораздо мощнее тех танковых пушек, какие я видел до сих пор. Они были выкрашены в зелёный цвет. На башнях у них были большие красные звезды и русская надпись: «ВПЕРЁД, НА БЕРЛИН!». Это были русские.

Головной танк въехал во двор усадьбы и остановился. Мы стояли, ожидая, что произойдет дальше. Из открытого люка вылез танкист и с удивлением посмотрел на нас: Немцы разрешали нам ходить в лагерях в военной форме. На нас были польские мундиры и фуражки. У некоторых даже сохранились кокарды с польским орлом и короной. Командир танкового десанта спросил кто мы такие. Мы ответили.

Он сказал, что возглавляет танковый рейд по немецким тылам и не может задерживаться здесь. Сам же русский фронт ещё далеко и находится в Литве. Чуть помедлив – он сказал, что тот, кто здоров и желает присоединиться к ним – может вместе с этим отрядом выйти к основным силам Советской Армии.

Времени на раздумье не было, но никто из нас не колебался. Сначала, около сорока наших польских бойцов разместились на броне этих двух русских танковых рот, а потом – мы пересели в три трофейных немецких грузовика, захваченных русскими.

Я плохо запомнил наш путь по немецким тылам. Два дня мы кружили по Восточной Пруссии, прежде чем командир получил по радио приказ об отходе и благополучно провёл свою часть через линию фронта. После придирчивой проверки советской контрразведкой – нас направили на сборный пункт. К нам даже представили охрану, хотя и маленькую.

К этому времени часть Польши уже была освобождена от фашистов. В Люблине было сформировано временное правительство Польши.

При помощи СССР – оно спешно воссоздавало Войско Польское²². Через сборный пункт мы попали в 1-ю польскую армию.

Я предъявил сохранившиеся у меня документы, с последней записью, сделанной в сентябре 1939 года: «Назначен командиром взвода». Я получил звание подпоручика и должность командира взвода, так как новой армии очень не хватало офицеров - поляков. Только боевой опыт позволил мне стать офицером, не окончив офицерского училища...

Война шла уже пятый год и почти всё это время – наша страна была оккупирована. Много офицеров было в плену. Многие воевали в составе союзных войск на Западе, где тоже сформировалась и воевала большая польская армия. Офицеры были нужны и в составе подпольных польских сил, продолжавших борьбу на всё ещё оккупированной немцами территории Польши. Мы ещё не знали тогда, сколько наших офицеров пропало в первый год оккупации и название местечка Катынь – ничего не говорило нам²³.

...Получив назначение и прибыв в действующую армию, я оказался на правом берегу Вислы – около самой Варшавы.

При приближении фронта – Варшава восстала, и мы слышали, что там шёл бой. Нацисты окружили город, расстреливали его тяжёлой артиллерией, яростно бомбили его, до основания снося квартал за кварталом. С самого начала – они отсекали восставших от берега и мы ничем не могли помочь им. Союзники и русские – на парашютах сбрасывали оружие и боеприпасы. Но этого было слишком мало!

В сентябре удалось освободить Прагу – восточную часть Варшавы, расположенную на правом берегу Вислы. Командование фронтом – разрешило части наших сил форсировать реку для поддержки восставших. Переправившись, наши польские во-

²²27.7.1944 года на освобожденной территории Польши был образован П.К.Н.О. (Польский комитет национального освобождения). 31.12.1944 года – П.К.Н.О. – был преобразован во временное правительство Польской республики, признанное вскоре правительством СССР. Резиденция правительства находилась в Люблине.

²³15 131 офицеров В.П. было расстреляно весной 1940 года в Катыни. 7 305 офицеров В.П. и полицейских расстреляно в тюрьмах западной Украины и Белоруссии. Лебедева Н. С. «Катынь: преступление против человечества» стр. 215-216, 517-603.

йны захватили небольшой плацдарм. Немцы навалились на него огромной силой, отрезали наших от реки и быстро уничтожили его. Все последующие попытки закрепиться на левом берегу – окончились неудачей. Само же восстание было безжалостно подавлено, и последние защитники Варшавы капитулировали 2-го октября 1944 года.

Первая польская армия была отведена в тыл на пополнение и перегруппировку, выполняя приказ советского командования, которому была организационно подчинена, входя в состав Советской армии.

В январе 1945 года – советская армия возобновила наступление против немецкой группы армий «Висла». В её составе – были и наши части. Наступление развивалось успешно. Мы по льду форсировали Вислу и 17 января 1945 года вошли в истерзанную Варшаву²⁴.

...Кому – то представлялось, что теперь – мы войдем в нашу Варшаву парадным маршем, с развернутыми знамёнами и оркестрами. Этого не случилось. Мы шли по бывшим улицам в скорбной тишине, с болью на лицах глядя по сторонам. Город был мёртв. В отместку за мужество восставших – нацисты разрушили город. Даже стен почти не было. Здесь тяжёлая артиллерия методично сносила квартал за кварталом, вместе со всеми, кто жил в них, не щадя никого. Даже те, кому было суждено выжить – были угнаны из опустевшего города. Ни одному из нас теперь не были нужны цветистые речи «политруков» - так теперь называли русских своих комиссаров. Мы желали теперь только одного – поскорее окончить эту неслыханную войну, шестой год терзавшую нашу прекрасную Родину. Скорее в бой! Как теперь можно спать и есть, пока живы Фюрер и германская армия?! Мы будем бить, рвать и давить, пока последний из них не испустит дух или поднимет руки.

Наш порыв был неудержим и стремителен. Наступая – мы стремительно прошли до самой границы с Германией. Границе, на которой стояли наши войска первого сентября 1939 года! Но

²⁴ В Варшаве, в 1939 году проживало 1, 3 миллиона жителей. В начале 1945 года – в городе осталось 162 тысячи жителей.

«колесо продолжало поворачиваться», и наши армии вошли в дрожащую, перепуганную «нашествием восточных орд», Германию. Мы остановились только на Одере, примерно в сотне километров от Берлина. Логово Фюрера было так близко, но командование приказало перейти к обороне и начало подготовку последнего, смертельного удара в самое сердце «Третьего Рейха».

Немцы быстро воспользовались этой передышкой и нанесли сильный контрудар на северном фланге наших фронтов – в Померании. Нашу 1-ю польскую армию – перебросили в Померанию, и мы встали в стальную оборону плечом к плечу. Это были очень тяжкие бои. Каждый день война показывала нам свое страшное лицо, но это был 45-й, а не 39-й год! Через неделю мы остановили фашистов, и шаг за шагом начали теснить их к Балтийскому морю.

У нас были свои «политруки», как у русских – только назывались они по-другому. Они говорили, поднимая наш дух, что мы приходим на этот берег навсегда, возвращая столетиями назад отнятые у нас земли. Что Поморье – станет берегом нового Польского моря, берегом великой и свободной Польши...

Мы приблизились на расстояние арт-огня к немецкому городу – порту Кольбергу. Но, конечно же – все мы называли его по-славянски, по-польски – Колобжег. Немцы решили оборонять его до последней возможности: порт был прекрасно укреплен, а отлично вооруженный и многочисленный гарнизон – посчитал позорной для себя саму мысль о сдаче полякам. Им была предложена капитуляция, им гарантировали жизнь и медицинскую помощь. В ответ же – немецкий комендант спесиво изрёк: «В 1807 году Наполеон не смог овладеть Кольбергом, а полякам тем более это не удастся!». Они сделали свой выбор.

Мы начали подготовку к штурму. Русские усилили нашу 1-ю армию частями гвардейских минометов – «Катюш», добавив к ним не большое количество самолетов морской авиации. Несколько раз наши летчики топили немецкие корабли. Прямо на наших глазах. Советские же корабли почему-то не решились подержать нас с моря, но сил было достаточно и без них.

Русские говорили мне свою солдатскую примету - младший по званию офицер (У них – младший лейтенант) живет в боях несколько дней: за это время его либо убивают, либо он получает следующий чин. Так стало и со мной – перед самым штурмом Колобжега я получил звание поручика и должность выбывшего ротного командира.

Решительному штурму города предшествовала мощная артиллерийская и авиационная подготовка: пронзительно ревели многие десятки «Катюш», тяжело ухали огромные осадные пушки. И десятки штурмовиков крутили над врагом такую же «карусель», какую мы видели шесть лет назад.

Мы поднялись в атаку и вошли в город. Форт, стоивший нам такой крови – был мёртв. Ни одного выстрела не раздалось из его развалин.

Но бомбить так сам город мы не могли и не смели – слишком много в нем оставалось мирных жителей, среди которых было немало и поляков. Улицы здесь перекрывались баррикадами, все перекрестки и площади простреливались не только пулемётным, но и артиллерийским огнём. И нам снова приходилось брать штурмом каждый дом.

Бои здесь – были особо упорные окружённые и прижатые к морю – немцы дрались особенно упорно. Им ещё раз предлагали капитуляцию, но как и раньше – ответа не было.

Теперь я мало «стрелял и ходил в атаку» - я был теперь командиром роты и должен был больше руководить боем, чем стрелять из своего автомата. Я был в ответе за доверенную мне сотню таких разных жизней. Эти люди подчинялись мне, и я был в ответе за наш успех, а если случится...

Остатки немецких войск оказались блокированным на территории морского порта. У них осталась небольшая полоска земли шириной около трех километров и глубиной всего лишь метров восемьсот.

Колобжег пал. Наши польские солдаты – ещё раз доказали своё мужество и знание военного ремесла. Они высоко подняли

нашу былую славу, затоптанную было немецким сапогом, подбитым блестящими медными гвоздями.

А когда затихли выстрелы, когда были преданы земле сотни наших друзей, павших в битве за Колобжег – к маяку пришли полки 3-й пехотной дивизии, чтобы дать клятву Балтийскому морю:— «Клянусь тебе, польское море, что я, воин своего Отечества, верный сын своего народа, никогда тебя не оставлю! ... Это – воля народа, и она привела меня к тебе, польское море! Я клянусь, что вечно буду охранять тебя, не щадя ни крови, ни жизни, и никогда не отдам тебя чужеземцам-захватчикам!..» Зазвучал гимн, знаменосцы двинулись к морю. Войдя по колено в воду, они повернулись лицом к нашему строю и медленно опустили полотнища в бьющие о берег волны. И тут усатый солдат, войдя в воду, снял с пальца золотое обручальное кольцо и с возгласом «Нех жие Польска!» бросил его далеко в море. У нас, поляков, с незапамятных времен, бытует обычай «венчания с морем». О нём и вспомнил теперь солдат, геройски сражавшийся за Колобжег и только что получивший «Крест храбрых». За ним к берегу потянулись его товарищи. В тот день воды Балтики приняли немало обручальных колец.

В это время – Люблинское правительство начало создавать 2-ю польскую армию. Несколько офицеров нашего полка были переведены в неё. В их числе был и я. До двадцатых чисел апреля мы готовились к новому наступлению. Все понимали, что оно будет последним: с востока армии союзников стояли в какой-то сотне километров от Берлина – на Одере, а на западе англо-американские войска быстро продвигались в глубь Германии. Наша же армия, находясь на южном фланге Берлинской группировки – готовилась к нанесению глубокого флангового удара. В течение 10 – 15 дней нам предстояло, совместно с Советской Армией, продвинуться до Дрездена, и занять его.

Наступление началось 16 апреля. На сотни километров вдоль Одера ночь стала днём. Сила, обрушенная на остатки гитлеровской армии была сказочно велика. Но из последних сил – гитле-

ровский режим продолжал сопротивляться. У него всё ещё были тысячи отличных танков, орудий, самолётов и сотни тысяч фанатиков, готовых умереть за своего Фюрера.

После первых дней тяжёлого, но успешного наступления – 20 апреля, с юга, фланг нашей армии, контратаковал немецкий 57-й танковый корпус, поддержанный механизированными частями парашютной дивизии «Герман Геринг». Здесь же была и уже потрепанная нами дивизия «Бранденбург» и другие, не менее именитые части нацистской армии. Нам пришлось нелегко, но мы ещё раз показали стойкость польского солдата. Мы показали, что мы умеем не отступать и стоять на смерть, если приказа на отступление нет.

Через несколько дней эта немецкая отчаянная попытка прорваться к Берлину с юга и восстановить положение на правом фланге – стала выдыхаться. Мы отбили эти атаки, и фронт, поколебавшись, снова начал всё быстрее откатываться на юго-запад.

Ничто уже не могло остановить нас. Мы верили, мы видели, что эта проклятая война доживает последние дни. Германия была разгромлена, но несколько теряющих связь и управление армий ещё продолжали бессмысленное сопротивление. Одним из самых больших и сильных таких обломков – была немецкая группа армий «Центр» под командованием фельдмаршала Шернера.

Мы пошли на Дрезден и взяли его, где нашему подразделению была поставлена другая задача.

Узнав о падении Берлина и смерти Гитлера – чехи подняли восстание в «Златой Праге». Но, как и в Варшаве – силы пражан были несоизмеримы с остатками немецкой армии противостоящим им. Фашисты бросили в атаку на город танковые и мотопехотные дивизии. Положение пражан, сразу стало подобно тому, в которое попали герои нашего варшавского восстания 1944 года...

И с радиостанции восставших раздался зов погибающей Праги. Город молил о помощи, звал на помощь победоносную Красную Армию.

Нас повернули на Прагу. Эти двести километров мы пролетели на броне русских танков с польскими белыми орлами за два дня. Все эти часы – голос по радио звал нас: «Красная армия! Приди и спаси Прагу!». Мы спешили и боялись не успеть. Мы боялись снова увидеть то, что уже однажды видели в Варшаве...

Но Прагу спасли другие, а нашу часть развернули в другом направлении. Война завершалась на глазах: фронта уже не было, но отдельные немецкие части – всё ещё пробивались по нашим тылам на Запад, чтобы сдаться англичанам или американцам. Некоторые из них – были большими и сильными.

Я с удивлением увидел, что мы оказались в районе (чуть не сказал – моего родного) города Тешина. Может быть – это было угодно самой судьбе, чтобы помирить соседей – поляков и чехов. Чтобы именно здесь забить большой осиновый кол и этой войне и этой старой обиде, посеянной когда – то меж нас ...

Без боя наша дивизия освободила несколько чешских городков. Моя рота была выделена для охраны моста через ущелье в нескольких километрах от этого города.

Недалеко в тылу моей роты – находилась чешская деревня. Тут я и встретил день победы над Германией. Ночью с восьмого на девятое мая – со всех сторон началась беспорядочная стрельба вверх. Стреляли из стрелкового оружия, пускали ракеты: сигнальные, осветительные. В округе раздавались радостные крики. В расположение нашей роты пришли жители соседней деревни.

Они сообщили нам, что по радио передали сообщение о том, что представители главного немецкого командования подписали, сегодня ночью, капитуляцию Германии. Война в Европе закончилась. Мои солдаты, тоже стали стрелять в звездное небо, радуясь победе. Чехи принесли вино и стали угощать солдат. Бойцы пили за победу, за мир, за нашу дружбу. Успокоились под утро и легли отдыхать...

Отдых оказался не долгим: боевое охранение доложило, что прямо на наши позиции движется механизированная колонна противника. На бортах их боевых машин были нарисованы эсэсовские эмблемы в виде двух молний. В колонне было несколько танков. Наши соседи – чехи в тревоге прибежали к нам, сказав что, к нашему мосту – подходит немецкая колонна.

Мы понимали – эти сдаваться не будут, эти будут прорываться на Запад. Им терять уже нечего. Когда немецкие машины показались перед позициями моей роты я отдал приказ открыть огонь.

У меня в подчинении была батарея 57 – миллиметровых противотанковых пушек. Мне её придали для усиления. У меня было чем воевать.

Колонна смешалась. Остановилась. Несколько машин и танков загорелось. Немцы быстро пришли в себя и стали отстреливаться. Мои бойцы ясно представляли, кто стоит перед ними. Немцы тоже видели, что на их пути стоят польские солдаты. Бой начался жестокий – никто не хотел уступать. Мы хотели показать, что такое храбрость польского солдата, честь Белого Орла... Хотелось припомнить им всё: и сентябрь 1939 года, и плен, и трагедию Варшавы. Нам хотелось показать этим эсэсовцам, что победили мы, а не они.

А фашисты, видя, что перед ними польские солдаты – шли на пролом, не считаясь с потерями. Они не могли поверить, что мы не разбежимся от их напора. Что мы будем стоять на смерть и не пропустим их на запад.

Они кричали: «Пропустите нас! Мы вас не тронем! Мы хотим сдать америкам!».

Мои солдаты отвечали им только огнем. Но силы были слишком неравны: у моих бойцов заканчивались боеприпасы. Нашлись такие смельчаки, которые лазили на нейтральную полосу и забирали у убитых немцев оружие, боеприпасы и отстреливались этим оружием. Не могло быть и речи, о том, чтобы пропустить эсэсовцев – воинская честь и долг был превыше всего для нас. Очень скоро у моих солдат кончатся патроны и, наверно, немцы

смогут прорваться здесь, но только через наши мёртвые тела. Мы не победим, и будем сражаться до конца. Этот бой шёл уже на второй день после победы, и всё думали, что в Европе наступил мир... Но только не здесь – в чешских горах.

У нас была рация, но вокруг были горы, связь была очень плохой, и я ни с кем не мог связаться, чтоб вызвать артиллерийский огонь или авиацию. Пришлось посылать связных в штаб. Наше положение становилось всё более опасным, но я продолжал надеяться на помощь наших войск. Надежда умирает последней.

...Наш яростный бой – показался нам шорохом листьев в дубовом лесу, когда из-за горы выскочили наши самолёты. Пройдя над нами, они засыпали эсэсовцев реактивными снарядами, вспороли землю очередями авиационных пушек. Немецкая колонна оказалась в положении зверя, которого со всех сторон обложили охотники. Каждый снаряд ложился в цель, и земля стала огненным морем для наших врагов. Машины, пехота, танки – всё горело и взрывалось под крыльями илов с бело-красными шапечками. Повторив заход – они улетели. Стало тихо, были слышны только крики раненых, умирающих на горной дороге и гул многих моторов, растущий и ширящийся у нас за спиной. К нам шла помощь. С немецкой стороны все смешалось. Никто уже не пытался оказывать сопротивление. Кто-то сдавался, идя с поднятыми руками, другие пытались куда-то сбежать. Катались по земле умирающие. Кто-то стрелялся, боясь плена много больше, чем смерти. Очевидно, у них были для этого основания.

Передние грузовики с подмогой уже перескочили через этот густо политый кровью мост и из них начали выпрыгивать солдаты. На вид - это были совсем мальчишки – наверное, рождения года 1926 – 1927, не старше. У них были длинные винтовки, они стреляли неведомо куда и в кого и бежали неизвестно зачем. Они хотели хоть что-то успеть в этой войне...

Она закончилась. Эта бескрайняя, неслыханная миром война. Мы радовались, мы обнимались и плакали от счастья. Но я ещё не знал, что эта война никогда не закончится для меня.

К мосту подъехал «виллис». Из него выпрыгнул хорунжий – почти такой же юный, как эти солдаты. Он спросил: «Кто командовал этим подразделением, оборонявшим этот мост?». Я представился. Он отдал мне честь и сказал, что имеет устный приказ командования – доставить командира этого подразделения, «героически отстоявшего мост», в штаб дивизии.

Я сел в его машину и мы поехали. Но мы не попали в штаб: По дороге наша машина подорвалась на mine.

Я очнулся в госпитале, несколько дней спустя. Ранение оказалось тяжёлым: контузия, травма позвоночника, повреждения нервной системы с частичным параличом правой стороны тела. После длительного лечения - врачи сказали мне: я буду жить, но инвалидом останусь навсегда²⁵. И никаких шансов на улучшение здоровья нет. Скорее наоборот.

В скитаниях по госпиталям прошло несколько лет. Мне дали инвалидность, назначили пенсию. Я оказался в Доме инвалидов войны, в городе Душник – Здруй. Нас оказалось здесь около 300 человек – офицеров - инвалидов войны. В основном – это были уроженцы восточных областей Польши. Тех областей, которые оказались в составе Советского Союза. Мы – польские солдаты победили в этой войне, но путь домой для нас оказался закрыт. Нам выпала незавидная судьба оказаться небольшой группой из числа тех миллионов «перемещённых лиц», ставших жертвами послевоенного передела Восточной Европы. Наш дом – остался за границей. Многие скрывали, что у них есть родственники, которые могли бы забрать их и заботиться о них. Вернуться туда мы, теперь тем более не могли: на Западной Украине шла гражданская война. Украинские националисты организовали отряды УПА (Украинской повстанческой армии) и вели безжалостную партизанскую войну. Это была жестокая война, и больше всего от неё страдало мирное население. Бойцы УПА очень жестоко обращались с теми, кто служил в Войске Польском, и часто даже убивали их. Особенно польских офицеров. Уже понемногу становилось известно о Катynie...

²⁵I nwalidzka Komisja Rewizyjnj-Lekarska wo Wroclawiu-16.03.1948

И я боялся. Я снова боялся, что своим приездом – я могу причинить беду и страдание моей семье и всем родственникам. И одновременно с этими событиями – в наших странах шло принудительное перемещение тысяч людей. Из Польши выселяли на Украину живших здесь украинцев, а навстречу им – двигался такой же поток выселяемых с Украины поляков. И я опять скрыл, что с той стороны границы – у меня осталась жена и четверо детей, указав при заполнении анкеты только престарелых родителей.

Куда могли деться, на что могли жить здесь – женщина с четырьмя детьми, не имея ничего... Я не знал, что в нашей семье в 1945 году произошла трагедия. В дом, где жила мать моей жены, и вместе с ней ещё девять человек, две другие её дочери. Там же вместе с ними проживал и муж одной из дочерей - были также дети. Зашли два бандеровца, требовали у родственников жены продовольствия. Для своего отряда УПА. В это время рядом с домом моей тещи проходил местный милицейский патруль (из жителей нашего и соседних сёл). У бандеровца сдали нервы, он выстрелил по патрулю. Началась перестрелка. Националисты выпрыгнули в окно, а дальше им удалось спрятаться в лесу и наблюдать. «Ястребки» так называли местных милиционеров, стали бросать в дом ручные гранаты. Дом загорелся. Сгорели девять человек, младшему было два месяца. Может поэтому мою жену и детей не затронуло выселение на запад. Власти решили после этого преступления на время оставить моих родственников в селе.

Такова была жестокая правда, открывшаяся предо мной. Я тосковал. Я душой рвался к ним... Прошло ещё несколько лет. Из газет я узнавал, что гражданская война на моей родине затихает, жизнь нормализуется. У меня была хорошая пенсия, которую я высылал на имя отца. Правда, она была хорошей для Польши, а в Советском Союзе были другие цены и другие деньги. Но мне казалось, что, закончив гимназию, имея опыт руководства людьми – я смогу как-то работать на родине даже в моём сегодняшнем положении. И не буду обузой для семьи. В письмах я говорил им,

что смог скопить немного денег, подрабатывая и которых хватит на первое время. Но сам не могу, писал я, выехать к вам. У меня накопилось много полезных в хозяйстве вещей. Чемоданы, которые я не хочу бросать и не смогу увезти сам. Приезжайте, ко мне в Душник – Здруй и помогите добраться домой.

Наконец, отец написал мне, что уговорил родственника жены поехать с ним за мной в Польшу. Они даже выехали, но беда снова оказалась быстрее нас. Границу закрыли. Железный занавес до самого неба встал на пути домой. Теперь были нужны визы, разрешения на въезд и выезд. То, что вчера за полчаса решалось на таможне – теперь надо было долго и сложно решать через Москву и Варшаву. У них опустили руки, и они вернулись домой. А я остался в доме для инвалидов в Польше. А дальше пошло ещё хуже: в СССР, как «врага народа» посадили и отправили куда-то в северные лагеря родственника жены.

Теперь за мной просто боялись ехать, чтоб не очутится в тех же местах, что и мой родич. Только мой старый отец был согласен, но у него уже не было на это сил – как и у меня. Конечно, о нас – героях страшной войны здесь достойно заботились: в доме инвалидов было хорошее обслуживание. У меня даже была сиделка, на оплату которой государство выделяло отдельную сумму. Но это не было моим родным домом. Здесь не было моей семьи.

А здоровье продолжало уходить из меня, мне всё труднее становилось ходить. Но я старался всё делать сам: мне, офицеру, было стыдно своей беспомощности. Я все ещё надевал свой мундир, и сам носил письма домой на почту. Я ещё пытался бороться за своё будущее.

Наступил 1951 год. Была глубокая осень, ударили первые морозы. Стало скользко. Я поскользнулся и сломал ногу. Травма оказалась серьёзной: рентгеновский снимок показал перелом бедра. Затем произошла закупорка сосудов в лёгком, и я умер²⁶. Меня похоронили с офицерскими почестями на местном кладби-

²⁶57 340 Duszniki Zdroj STATYSYKA MEDYCZNA. Zawiadezenie wydano na podstawie wpisu z ksiegi glownej Nr 2325/51.

ще. Обо всем позаботилось руководство дома инвалидов, то есть государство. На могиле поставили крест, прозвучал воинский салют, легли венки и цветы²⁷.

Очень хлопотал за меня мой земляк и однополчанин, Блажей. Тот самый Блажей, с которым мы приняли наш первый бой в сентябре 1939 года и с которым мы много лет, спустя, встретились в доме инвалидов. Почему он не вернулся домой? Я не знал и не узнаю этого никогда. У него была своя война и своя судьба. Ведомая только ему одному...

Шли годы. Сначала по праздникам к моей и двум таким же могилам одиноких офицеров – инвалидов приносили цветы харцеры. «Никто не забыт, ничто не забыто...». Но с годами пропали и они. И спустя десятки лет – надписи на наших крестах стерлись и их уже невозможно прочитать. Затерялась и запись о захоронении в кладбищенском архиве. Пропали вообще все записи того 1951 года. Как будь-то никто и не умирал в том далеком году в курортном городке Душник - Здруй. Как было здорово, если бы всё это было бы именно так! Но это не правда: я умер тогда и похоронен там.

Через два десятка лет после октября 1951 года – на мою могилу ко мне приезжал мой сын, но он не знал где она²⁸. Старый кладбищенский смотритель показал ему три старые могилы, сказав: «Это здесь, а в какой из них ваш отец – я не знаю». Мой сын зажѐг три свечи и поставил по одной на каждую могилу, прочел молитвы.

Скоро придет время, и на месте старых бесхозных могил похоронят новых умерших – согласно существующему сейчас закону. ...Соберут мои кости, всё, что осталось от меня, и закопают в дальнем углу кладбища²⁹. Может быть, так же поступят и с останками других офицеров – инвалидов, лежащих здесь.

²⁷Miejsce i data pogrzebu 04.10.1951, Dusznik Zdroj.

²⁸Urząd stanu Cuiwilnego 57-340 Dusznik Zdroj. Tel. 593 Znak Aktu № 6243/02/91

²⁹ На 7.4.1993 года, перезахоронение не было произведено, т.к. была произведена резервация места захоронения на последующие 20 лет (Оплата места – 200 тысяч Злотых, в ценах 1993 года, по существующему местному законодательству в г. Душник - Здруй). Квитанция Urząd Miejski, 57-340, Dusznik Zdroj, № 325 630.

А может и нет. Хочу верить, что этого не случится. Что найдутся затерявшиеся документы. Что кто-то вспомнит и о нас – солдатах Польши, умерших в доме для инвалидов, так и не вернувшихся домой с той, уже такой далёкой войны. Что нас, переживших май 1945 года, и наши могилы - помянут и почтят вместе с нашими однополчанами, не дожившими до Победы. Ведь для нас, солдат, не вернувшихся домой – та война не закончилась и по сей день...

Дорога к дому.

«...Моё детство прошло в маленьком городке западной Польши. Здесь я пошёл в первый класс. Мой отец был кадровым сержантом в танковых частях польской армии, мать - домохозяйка. В 1939 году мне было тринадцать лет, в сентябре я должен был идти в седьмой класс. Наша семья жила на территории военного городка.

В середине августа по городку стали ходить небольшими группами молодые ребята призывного возраста в гражданской одежде. Я как-то спросил отца, что это за люди. И получил вполне исчерпывающий ответ: «Держи язык за зубами, никому не говори о том, что здесь видишь». В городе и гарнизоне ближе к сентябрю поползли тревожные слухи. Участились провокации на границе. Нам, ребятам, всё было интересно, во всем была своя романтика. Нам представлялось, что если начнется война, то и нам найдется на ней место.

Тридцатого августа разведывательные танки по тревоге погрузили на двухосные тягачи и отправили вместе с экипажами на боевые позиции поближе к границе. В казармах остались тыловые службы. Мой отец заведовал одним из складов, а точнее, служил в интендантской службе. Тридцать первого августа во дворе наших казарм происходило столпотворение. В этот день в Польше объявили всеобщую мобилизацию. Люди разных возрастов весь день прибывали на плац. Их вели в баню, затем мобилизованным выдавали новое обмундирование. Гарнизон

был похож на огромный муравейник. Везде было движение, колонны шли в разные стороны. Одни прибывали, другие из тех же ворот уходили в неизвестность. Под утро, около шести часов объявили боевую тревогу. Мы, гражданские, выбежали полураздетые, ещё не проснувшиеся на улицу. Все спрашивали друг у друга, что произошло. Все надеялись, что тревога учебная, надеялись на лучшее. Где-то высоко в небе над нашими головами послышался шум авиационных двигателей. Мимо нас двигалась армада самолётов. Они летели со стороны границы. Звук, который издавали эти машины, был совсем другой, не тот, к которому мы привыкли при пролёте польских самолётов. И тут нашлись оптимисты, которые уверяли, что это английские или французские аэропланы. Машины улетели куда-то вглубь страны на восток. Комендант приказал гражданским лицам расходиться по домам и не создавать паники. Он сказал, что утром будет правительственное сообщение. На все вопросы населения у него был ответ один: «Слушайте радио». Никто больше в городке не заснул. Вскоре домой забежал отец и сказал несколько успокаивающих фраз: «Началась война, но всё будет нормально, ничего не бойтесь!» Ему предписано было находиться по боевому расписанию, и он ушёл.

Первого сентября 1939 года по радио выступил президент Речи Посполитой Польской. Его обращение было коротким: «Враг, а точнее, фашистская Германия без объявления войны перешла границы Польши. Агрессор подверг бомбардировке города и веси, армия вступила в бой с захватчиками. Он призвал народ сплотиться и дать решительный отпор германцам. Помощь скоро придет, а пока нужно выстоять, продержаться».

Женщины стали оклеивать оконные стёкла тонкими полосками бумаги, пытаясь таким способом уберечь их от взрывной волны, от сотрясения. Рядом с плацем установили зенитный пулемёт системы «Hotchkiss». Расчёт обкладывал его мешками с песком, сверху натягивали маскировочную сетку. Всем было запрещено открыто ходить по территории гарнизона, но разрешили переме-

щаться под прикрытием зданий или деревьев. В особенности это распоряжение относилось к нам, к подросткам, чтобы мы своей беготнёй не демаскировали объекты. Странно, как будто у немцев не было карт, на которых точно указывалось, где что располагалось. После того как мы вдвоем оклеили все окна в нашей квартире, я отпросился у матери сходить посмотреть, что делается в городе, и мы с приятелями отправились туда. В городе ощущалось тревожное настроение. Повсюду патрули из полицейских и солдат, сформированные из военнослужащих дивизии, в которой служили наши отцы. На рекламных тумбах уже расклеены приказы, распоряжения, плакаты о переводе жизнедеятельности города с мирного времени на военное. На улицах встречались люди в гражданской одежде с противогАЗами на плече и повязкой «гражданский патруль» на рукаве. Нам объяснили, что это гражданская противовоздушная оборона. Население быстро перестраивалось на военный лад. У магазинов выстраивались очереди, скупали всё подряд, но самое дефицитное, как говорили тогда, соль, спички, мыло - исчезли с прилавков за несколько дней до официального объявления войны. Насмотревшись, набравшись разных слухов первого дня войны, наша компания вернулась в замаскированный, подготовившийся к обороне военный городок.

Второго сентября я не пошел смотреть, что делается в округе, я подошёл к солдатам, которые рыли укрытия, и стал помогать им. Остальное население гарнизона также помогало бойцам строить укрепления. На следующий день в расположение нашей части приехали представители местного бурмистра. Они хотели договориться с комендантом о помощи. Горожанам нужен был шанцевый инструмент для возведения укрытий. Народу строить укрытия от вражеских бомб и снарядов набралось немало, а лопат и кирок не хватало. Командование части выделило излишки инструмента в распоряжение городских властей. На подводы, присланные бурмистром, стали грузить лопаты. Из города приехали харцеры для помощи в погрузке, мы с товарищами тоже

включились в работу. Со многими я учился в одной школе, и поэтому у нас было много тем для разговоров. Конечно, первые вопросы касались новостей на фронте. Затем пошли расспросы: а как у вас? Я спрашивал, что нового у них в городе. Они с энтузиазмом рассказали, что город похож на цыганский табор, по нему проходят сотни беженцев из приграничных сел и деревень, спасающихся от войны. С собой они тащат в тыл свой домашний скот. В городе также полно ортодоксальных евреев, они все в чёрных с большими полями шляпах и у всех мужчин, даже у маленьких мальчиков, длинные, такие смешные пейсы. Дворники ругаются, все дворы и тротуары загажены скотом и не только им. Ребята также рассказали, что они собирают по городским газонам много яиц, которые оставила там домашняя птица беженцев.

Так я впервые узнал, что означает на самом деле слово беженец. В этот день произошло еще одно событие. Во время нашего оживлённого обмена новостями все услышали звук колоколов. Кто-то выглянул из окна и радостно прокричал: «Ура, мы не одни, наконец-то они вступили в войну!». Я вначале ничего не понял. Люди вокруг вдруг стали обниматься, целоваться, поздравлять друг друга с победой: это Англия и Франция объявили войну Германии. Вечером забежал домой отец. Он выглядел усталым, в части было много работы. Из обрывков их разговоров с матерью я понял, что на фронте дела идут не очень хорошо для нашей армии. Нет, не для нашей армии «Познань», а в целом для всего Войска Польского³⁰. Наша «Великопольская» кавалерийская бригада совершила даже несколько рейдов на территорию Германии. Взяла пленных и захватила большие трофеи, но это только на одном участке фронта, а на других - везде отступление. Перед уходом отец дал понять, что, может быть, будет отдан приказ на эвакуацию, семьи военнослужащих тоже будут отправлены на восток вглубь Польши. Через день после

³⁰Армия «Познань» на первое сентября 1939 года состояла из четырех пехотных дивизий (14-я, 17-я, 25-я, 26-я), двух кавалерийских бригад (Великопольской, Подольской), двух бригад национальной обороны, двух танковых дивизионов (71-й, 72-й) и других импровизированных частей. Обороняла территорию Великой Польши, прикрывала фланги армий «Поморье», «Лодзь».

обеда дома снова появился мой отец, он был в полевой форме: «Времени мало, дан приказ на отход. Мы уходим». Он сказал, что нас с матерью посадят в один из военных грузовиков, о чем с начальником колонны имеется договорённость. У него опять не осталось времени на нас, прощание было коротким. Отец ушёл, мы остались вдвоём. Стали вспоминать, всё ли положили в чемоданы и рюкзаки на случай отъезда. Окно в нашей квартире было открыто, и мы слышали голос с улицы. Водитель звал нас, автомобильный клаксон у него не работал. Мы вышли с вещами во двор. Нас ждал старенький, выдавший виды полуторатонный грузовичок с молодым солдатиком-шофёром. В кузове лежали ящики от снарядов и ещё две бочки. Мать села в кабину, я забрался в кузов. На мой вопрос, что в ящиках, солдат ответил: «Военная тайна». Старший колонны проверил готовность машин к отправке и дал команду «вперед». Грузовики выезжали по очереди из ворот военного городка. Никто тогда не мог предположить, что больше они никогда не вернутся сюда, в свои казармы.

Машины ехали быстро, дорога была свободна. В Познань въехали под вечер, переехали через мост, оказались на другом берегу Варты. Когда стало темнеть, выехали из города. Проехав с десяток километров, наша машина заглохла. Грузовик замыкал колону. Водитель пытался световыми сигналами фар остановить едущую впереди машину, но сигнал оказался слабым, и мы остались одни ночью на дороге. Нам ничего не оставалось, как лечь спать. Я и солдат приготовили себе место в кузове, отодвинув ящики. У него был брезент, в который мы завернулись. Перед тем как уснуть, я поинтересовался насчет диких зверей. Водитель иронично заметил, что сейчас нужно бояться «зверей на двух ногах». Помолчав, добавил, что война согнала тех, кто на четырех ногах, с насиженных мест, они сейчас ушли очень далеко. Этот его успокаивающий рассказ помог мне в дальнейшем. Мать спала в кабине. Утром боец попробовал починить машину. Он оказался классным механиком. Поколдовав пару часов над двигателем, наконец, он устало распрямился. Грузовичок чихнул не-

сколько раз, и мотор завелся. Сборы были мгновенными, и мы продолжили свой путь в одиночестве. Через час впереди на шоссе показались телеги и повозки бегущих от войны людей. Вскоре наша машина нагнала их. Скорость упала, мы ползли, словно черепаша. Наши попутчики из любопытства заглядывали к нам в кузов. Кто-то из людей подпрыгивал, пытаясь рассмотреть, что мы везём в кузове, некоторые пытались влезть в него. Я сидел в углу, ближе к кабине. Водитель остановил грузовик. Открыл дверь кабины, встал на подножку. Он отдал мне свою каску и штык-нож: «Надень каску, пригнись, чтобы тебя не видели. Пускай думают, что здесь солдат. Мы везем с собой две бочки бензина. Если что, бей штыком!» Я почувствовал себя настоящим часовым на посту и приготовился защищать всеми силами и средствами доверенное мне военное имущество. Движение остановилось совсем.

Впереди был мост, а на мосту затор. Охрана, которая должна была регулировать движение, ничего не могла сделать. Перед мостом и на самом мосту заглохли два грузовика, образовалась огромная пробка. Ко всему прочему сломалось несколько телег у беженцев. Полицейские, из которых и состояла охрана, честно пытались устранить пробку, но у них ничего не получалось. Нам ничего не оставалось делать, как ждать. Остановка оказалась длительной. Я услышал крики: «Уланы, уланы едут!». Выглянув из-за борта, увидел, что к нам направляется эскадрон уланов. Видимо, старший из охраны моста стал пробираться сквозь толпу к кавалеристам. Подойдя, он стал что-то лихорадочно объяснять им. Командир уланов оценил обстановку и решительно стал действовать. Нельзя было терять ни секунды. В любое время могли появиться самолёты врага, и тогда все, кто попал в эту западню, наверняка остались бы здесь навсегда. Два или три кавалериста открыли огонь из ручных пулемётов поверх голов идущих к мосту людей. Одновременно с огнём пулемётчиков два взвода уланов взяли пики на изготовку и направили своих коней на толпу. Началась паника, давка. Люди отхлынули от дороги. Кавалеристы очистили предполье моста от беженцев. Затем часть

кавалеристов спешила и начала помогать полицейским очищать дорогу от техники, телег, пожитков беженцев. Путь был свободен. Сначала прошли уланы. Затем охрана стала определять, кого пропускать через мост. Наконец очередь дошла и до нас, и мы переехали на другую сторону. Так наступил второй и ещё не последний вечер нашего отступления. Мы решили, что нужно искать место для ночлега. Нам с водителем снова ночевать в кузове, а матери в кабине - не очень хотелось. На нашем пути лежал небольшой городок. Когда мы подъехали к полицейскому участку, моя мать решила попросить там место для ночлега. Один из полицейских решил нас выручить, он написал записку и дал нам свой домашний адрес. Приехав на место, мы сразу попросили показать нам места, где мы можем лечь спать. Ужинать не стали, хотя хозяева и предложили. Утром после завтрака, уже перед самым отъездом мы услышали отголоски далекой канонады. Я впервые слышал голос войны. Нужно было торопиться, война нагоняла нас...

Сколько времени мы ехали и сколько километров, я не помню. На каком-то перекрестке нашу машину остановил жандармский патруль. Старший патруля проверил у нас у всех, в том числе и у меня, документы. Затем он распорядился, чтобы «гражданские покинули военный объект». Мы с матерью остались без транспорта. Водителю грузовика он приказал следовать на сборный пункт, посадив для верности в кабину одного из своих людей. Позже я узнал, что командующий армией «Познань» генерал Кутшеба собирал разрозненные войска в мощный кулак³¹. Вскоре он нанес свой знаменитый удар на реке Бзуре. Я не знал и не мог знать, почему нашей машине не разрешили продолжить путь по своему маршруту в сторону Львова. У нас было по чемодану

³¹Генерал дивизии Тадеуш Кутшеба (15.04.1886 г., Краков - 8.01.1947 г. Лондон). В 1939 году командовал армией «Познань». Под его командованием войска армии «Познань» нанесли контрудар на реке Бзуре (8.09. - 22.09.1939 г.). 28.09.1939 г. подписал акт почётной капитуляции Варшавы, согласно которому офицерам сохраняли холодное оружие, сержантов и рядовых после формальной проверки отпускали по домам. Этот пункт, касающийся роспуска по домам, был нарушен. С сентября 1939 года по апрель 1945 года находился в немецком плену, затем в эмиграции. Умер в Лондоне.

и по рюкзаку. Вынужденные нести этот багаж в руках и очень устав, мы решили избавиться от ненужных нам вещей. Сделать это оказалось нелегко, все казалось нужным. Однако голый рационализм победил: вещи уместились в один чемодан, рюкзаки тоже стали полегче. Отец когда-то подарил мне отличный швейцарский складной нож. С его помощью я срезал молодое длинное дерево. Обрезал ветки, получилась палка, её продели через ручку чемодана. Мы были с матерью примерно одного роста. Подняли и положили эту палку с ношей каждый себе на плечо. Так и пошли, неся чемодан. Идти стало легче.

И снова на дороге образовалась заминка. Впереди на шоссе была огромная яма - воронка от авиабомбы, по ее краям лежали мёртвые лошади. Одна без головы у остальных не было ног. Люди обходили это препятствие с обеих сторон, переходя через придорожные канавы, стремясь как можно быстрее покинуть прифронтную зону. Отойдя подальше от мёртвых животных, мы остановились, решили передохнуть, сняли свою ношу с плеч. Я стал осматривать местность, которая окружала нас. Повсюду, куда бы ни устремлялся мой взор, были бескрайние голые поля. Ещё недавно на них колосились хлеба. А теперь они сиротливо простирались на все стороны горизонта. Пришла на землю осень, а вместе с ней и самая кровавая, самая беспощадная война. Мои раздумья прервал шум авиационных двигателей. Я взглянул наверх и увидел, что ко мне стремительно приближается пикировщик. Еще мгновение и вокруг меня прогремели взрывы бомб, воздух разорвали очереди авиационных пулемётов. Ошеломлённый, я продолжал стоять скованный страхом, переживая ужас первой своей бомбёжки. Отовсюду слышались крики, плач, мольбы о помощи. Немецкие летчики смотрели на дорогу, сквозь бомбардировочные прицелы. Самолеты врага делали свое кровавое дело. Вдруг какая-то неведомая сила заставила меня сдвинуться с места, и я побежал в дыму и грохоте в другую сторону от дороги. Далеко убежать мне не удалось, взрывная волна упавшей неподалеку вражеской бомбы сбила меня с ног, и я упал. Созна-

ние я не потерял. Лежа на земле, я весь сжался в комок, голову закрыл руками. Мне казалось, что я кричу от страха, но своего крика я не слышал. Сколько я так пролежал, я не помню. Придя в себя, я привстал, посмотрел вокруг. Взглядом я искал мать. Ее рядом не было, только горела, как мне тогда показалось, в некоторых местах земля. Мне стало страшно, я весь дрожал. Позже я узнал, что это горели куски тола, попавшие в землю при разрыве бомб. Превозмогая страх, я стал искать то место, где мы отдыхали перед бомбёжкой. Чуть погодя я нашел его. Моей матери там не было. До самой ночи я ходил по полю и, срывая голос, звал её. Её нигде не было. Уставший, я набрел на стог сена, стоящий в поле. Забравшись в него, я сразу же крепко заснул. Сквозь сон я услышал разговор и открыл глаза. Через сухую траву, которая полностью закрывала меня, я увидел рядом со стогом, в котором провел ночь, солдат в немецкой форме. Это были крепкие ребята, наверное, совсем недавно окончившие гимназию. Они вели себя, как болельщики на стадионе. Некоторые из них подпрыгивали, пытаясь что-то лучше рассмотреть, другие что-то кричали, хлопали в ладоши. Один досадливо пытался что-то объяснить стоящему рядом пехотинцу. За группой немцев чуть в стороне стоял большой грузовик с закамуфлированным брезентовым тентом, слева от него - танк с двумя пулемётами. На бортах его башни красовались огромные белые кресты. Я осторожно повернул голову в ту сторону, куда с таким восторгом смотрели захватчики. Там по ровному полю, в направлении виднеющегося перелеска, стремясь скрыться, раствориться в нём, спотыкаясь, наскакивая друг на друга, бежала небольшая группа польских солдат. Видимо, немцы застали их спящими. Оружие было не у всех, а, может, они его бросили. За поляками вслед мчались три немецких танка, вооруженные пулемётами, и с такими же белыми крестами на броне, как у того, который стоял рядом со мной. Один из убежавших вдруг побежал в сторону от остальных. Он стал петлять, словно заяц. Шинели на нём не было, мундир не был подпоясан ремнем. Только прямоугольная матерчатая противогазная сум-

ка под цвет мундира одиноко висела на боку. Боец пытался за лямку повернуть ее к себе на живот. Как только он отделился от основной группы своих товарищей, за ним погнался танк, а два других продолжали преследовать остальных, стреляя по убегавшим из пулемётов на ходу. Одинокому бойцу удалось повернуть сумку на живот. Он на бегу расстегнул её и вытащил бутылку. Я увидел, что из горлышка бутылки пошёл тоненький дымок. Наш солдат развернулся в пол-оборота и швырнул бутылку в танк. Солдат еле устоял на ногах, он согнулся и в таком положении побежал дальше. Бутылка разбилась о броню. Машину тут же охватило пламя, несмотря на это, она продолжала движение. Проехав метров двадцать, танк остановился. Из всех его щелей шёл черный дым. Немецкие пехотинцы застыли в изумлении. Танк, стоящий в резерве, сорвался с места. Очень быстро он настиг беглеца, бросившего бутылку. Бронёй он сбил солдата. Я услышал громкий крик, на мгновение заглушивший трескотню мотора. Танк проехал немного вперед, остановился, развернулся и, не знаю для чего, ещё раз проехал по мертвому телу. Немцы побежали к грузовику, быстро залезли в фургон и уехали вслед за своими танками....

Я весь в слезах выскочил из своего укрытия. И со всей своей ребячьей скоростью побежал прочь от места этой трагедии. Вскоре я достиг леса. Я бежал, не разбирая дороги, ветки деревьев хлестали меня по лицу, залитому слезами. Впервые на моих глазах так жестоко погибли люди. Еловые иголки больно стегали по глазам, но я не обращал на это никакого внимания. Наконец силы стали покидать меня, и я остановился. Я упал на траву, закрыл глаза и всё это увидел снова. Привстал и, согнувшись, побежал дальше. Остановился у узкой лесной речки. Упав на её берег, я стал жадно пить воду, не переставая рыдать. Я всё никак не мог прийти в себя. Утолив жажду, я пошёл прямо в воду, мне было безразлично, куда идти. Я ещё не пришёл в себя от этого потрясения. Так я голодный проходил несколько дней. Есть я не мог, пил только воду где придется, специально шёл туда, где был не-

проходимый лес. Осень стояла очень тёплая. Помнится, раньше говорили, что когда у человека сильное потрясение, его простуда не берет. Не знаю, у меня все обошлось. Я не заболел...

Я не считал, сколько прошло времени, но я вышел на какое-то шоссе и пошёл по нему. К вечеру я набрёл на поврежденную полую кухню. Около кухни лежала убитая лошадь, возницы нигде не было видно. Колесо одно валялось поодаль, и поэтому кухня наклонилась на один бок. Её корпус был весь в дырках от пуль. Я залез наверх и открыл крышку термоса. В том отделении был суп, вернее то, что от него осталось. Жидкость вылилась сквозь пулевые отверстия, а гуща осталась, сместившись на один бок. Природа ещё не приступила к разложению трупа лошади, и я не чувствовал никакого запаха от неё. Я почувствовал приступ голода и решил попробовать этой еды. Набрав руками немного оставшегося супа, я, как животное, начал его есть. Мне показалось вкусно. Утолив голод, я осмотрелся: к корпусу был прикреплен половник. Набрав его полный, я уже с аппетитом продолжил трапезу. Стенело быстро, и я начал искать место для ночлега. Недалеко в придорожной канаве была брошена сломанная телега. В ней я нашел какие-то старые лохмотья, и, завернувшись в них, я заснул.

Утро следующего дня выдалось хмурое, но дождя не было. Высунувшись из своей постели, я увидел около кухни наших польских солдат. Слегка протер глаза, я пошёл к ним. Вдруг словно из-под земли передо мной вырос немец с направленной в мою сторону винтовкой. Он что-то сказал мне и прицелился. Один из поляков крикнул, чтобы я остановился на месте и поднял руки. Я всё исполнил. Немец подошёл ко мне, повесил свою винтовку на плечо и стал обыскивать меня. Он похлопывал меня своими руками по туловищу, затем ощупал рукава пиджака, тем же манером исследовал брюки. Затем резко развернул меня к себе спиной и дал мне пинок ногой. Я не ожидал такого поворота событий. Когда он меня обыскивал, я стоял и трясся от страха. От его пинка я упал прямо посередине дороги. Фашист что-то стал мне говорить, я не понимал. Опять один из наших пленных перевёл мне

его слова. Я услышал, что если хочу жить, то должен убираться отсюда, как можно быстрее. Вскочив на ноги, я попробовал бежать, у меня не получалось, при падении я повредил ногу. Придерживая больную ногу рукой, вприпрыжку я кое-как покинул это опасное место.

Дни и ночи летели стремительно. Голод снова заставил меня искать встречи с людьми. Я пробовал выйти из лесных зарослей. Шёл на просвет, у меня получилось. Выйдя на край поля, увидел вдалеке дома, над ними возвышался построенный из темно-красного кирпича старый костёл. Погода стояла отличная. Солнце своими лучами ласкало мое лицо. Я, уже наученный горьким опытом, шёл не прямо по улицам этого села, а пробирался огородами. Мой путь лежал к костёлу в надежде найти там еду и кров. Я уже было хотел перескочить плетень, как раздалась очередь из пулемёта. Стреляли из польского оружия, это я сразу понял. Я был харцером, и нас водили на полигон, кроме того, отец в свое время брал меня несколько раз на стрельбы. Пулемёт стрелял с колокольни по немецкой пехотной колонне. Захватчики шли по улице, которая вела прямо к костёлу. Их этот обстрел застал врасплох. Немецкие солдаты залегли здесь же, прямо на дороге, и лежали, сжавшись в комок, боясь пошевелиться, движением привлечь к себе внимание пулемётчика. Боец раз за разом проходил свинцовым ливнем немцев, растянувшихся на дороге. Его огонь прекращался лишь на секунды, когда нужно было поменять пустой магазин на полный. Я услышал за своей спиной звук, напоминающий хлопки. Это стреляли миномёты. Вокруг костёла, на костельном дворе стали взрываться миномётные мины. Немцы вызвали подкрепление на помощь своим солдатам, попавшим в засаду. Со свистом проносились вражеские мины мимо меня, разрываясь во дворе костёла. За домами послышался мощный шум, был слышен лязг гусениц. Мой отец был танкистом, поэтому я без труда мог разобрать, что это движется танк. Раздался выстрел танковой пушки. Первый снаряд пролетел мимо. Фашистам потребова-

лось около десятка снарядов, чтобы подавить пулемётную точку. Один из них попал на площадку, где лежали пулемётчики. От его осколков и взрывной волны колокол издал прощальный звон, прозвучавший реквием погибшему польскому солдату или солдатам. Я не знаю, сколько их там было...

Немцы, словно пауки, стали расплзаться по селу. Они искали польских солдат. Я присел и смотрел сквозь плетёный забор. Оккупанты вытащили из придорожных кустов нескольких мужчин. Они были одеты в темные видавшие виды заношенные пиджаки и в такие же рабочие брюки, на голове имелись кепки. Это были крестьяне. Следом за ними вывели двух солдат. Солдаты были пожилые, на голове у них не было квадратов, мундиры были без ремней. Наверное, поймали ездовых из обоза. Немцы тут же принялись избивать их, вымещая на этих стариках свой страх, который они пережили, лёжа на дороге. Я слышал только стоны истязаемых людей, крики и ругательства их палачей. Тарахтя, к толпе озверелых захватчиков подъехал мотоцикл с коляской. На коляске был установлен пулемёт. Пулемётчик что-то стал кричать и жестикулировать одной рукой. Нехотя фашисты подчинились его уговорам. Он прицелился и короткими очередями стал расстреливать несчастных, зверски избитых стариков. Я, как заворожённый, смотрел на эту казнь. После учиненной расправы немцы в селе не задержались. Я тоже решил побыстрее покинуть это страшное место.

Направление своего маршрута я пытался определять утром, во время восхода солнца, держась немного правее от поднимающегося диска. Конечно, это у меня не всегда получалось: то я просыпал восход, то тучи закрывали солнце. Я брёл почти наугад. Мои глаза освоили ночную темень, я научился ориентироваться в сентябрьских ночах, словно крот. Питаясь тем, что пошлёт природа, я здорово голодал. Нужно было что-то предпринимать. Вскоре я догадался искать съестное в брошенных вещах, в разбитых обозах, которые той осенью были почти что на всех польских дорогах, ведущих на восток. Однако это нужно было делать

осторожно. В те времена там бродило очень много всякой разношёрстной публики. Однажды под вечер из-за кустов я видел, как какие-то люди лазили по карманам мёртвых, открывали им рты, некоторых даже раздевали. Скорее всего, мародеры искали деньги, драгоценности. Мне нужна была только еда. Я не подходил туда, где смерть уже наложила на погибших свой зловещий отпечаток: где плоть начала разлагаться, где стоял зловонный запах. Где птицы клевали размазанные кишки по траве.

В одном из разбомбленных гражданских обозов я нашёл зимнее пальто своего размера, в другом - тёплые ботинки. Днём стояла тёплая погода, но ночи становились холодными. Я связал шнурки ботинок вместе и повесил их через плечо. Надел пальто и в таком виде продолжал свой поход. У меня не было больших запасов еды, все помещалось в карманах верхней одежды. Я потерял счет дням. Для меня не важно было, какое сегодня число, какой день недели. Я знал, что когда рассветало, то нужно было идти, когда темнело, нужно было искать место для сна...

В направлении, которым я шёл, всё чаще стали встречаться поля с маленьким перелесками. Мне попались на глаза две речные цапли. Солнце стояло высоко в небе. Издали я рассмотрел, как с разных сторон приблизительно в одно место подходили, подъезжали, кто на чём, люди. Подойдя ближе, я понял, что это был берег реки. В том месте, куда стекались люди, должен был быть деревянный мост. Он был, но от него остались только сваи, торчащие из воды. Это всё, что оставили от переправы фашистские бомбы. У входа на мост стоял указатель с названием реки. Я прочитал. Это была Висла. Весь её берег в этом месте был забит отходящей армией, спасающимися от гитлеровцев беженцами. С пригорка я увидел, что по другую сторону моста в воде стоит пустая армейская машина с прицепленным орудием. Рядом с ней расчёта не было. Беженцы и отступающие войска переходили Вислу вброд. На моих глазах в реку стал вползать разведывательный танк, а точнее, танкетка. В той части, где служил мой отец, были такие. Она медленно ползла к противоположному берегу. Вдруг

танк перестал двигаться вперёд, хотя двигатель у него работал, вокруг брони забурлила вода. Танк стоял на месте, не двигаясь ни вперед, ни назад. Открылся люк, на башню вылез танкист и стал жестами просить помощи у своих однополчан, оставшихся на берегу. Ему на помощь поехала другая машина. Она быстро стала приближаться к забуксовавшей танкетке. Не доехав два корпуса, вторая танкетка встала намертво в речном иле. Тогда из первой, стоящей посередине реки машины, вылез танкист и виновато пожал плечами. Экипаж оставшейся на суше третьей танкетки стал обходить водителей автотранспорта, пытаясь найти тросы, чтобы с их помощью вытащить машины, оказавшиеся в речном плену. Тут же стояло скорострельное зенитное орудие, прицепленное к тягачу. Зенитчики бурно обсуждали, что делать дальше. Никто из них не следил за воздухом. Я услышал знакомый шум, который стремительно нарастал с высоты. Я испугался, упал на землю. Тишину этого ласкового, солнечного дня разорвали раскатистые глухие взрывы немецких фугасов, панические крики людей, ржание обезумевших крестьянских лошадей. Моё тело непроизвольно вздрагивало от разрывов. Лётчики сбросили свой груз на стоящие в воде танки. Самолёты ушли на второй заход. В это время водитель тягача заскочил в кабину, завел двигатель и хотел увести машину с пушкой в другое место. Тем временем расчёт занял свои места и открыл огонь по возвращающимся самолётам. Фашисты резко поменяли цель, сбросив бомбы на зенитку. После налёта я увидел, что весь берег изрыт небольшими ямами. Это были следы от немецких бомб, повсюду лежали изувеченные тела людей и животных. Корчились от боли раненые. На месте тягача с пушкой валялись куски покореженного железа...

И всё же нужно было переправляться, я пошёл в воду. Вода была мне по грудь. К одной из свай прибило тело танкиста. Изуродованные танки сиротливо стояли в воде. На другом берегу через кусты ивы я увидел, как наши солдаты приводили себя в порядок после переправы. Они уже заканчивали отжимать свою форму. Командир торопил их. Я увидел, как один боец среднего

возраста свои мокрые обмотки обматывал вокруг тела. На него непонимающе смотрел другой солдат. По виду совсем мальчик. Из их реплик я понял, что так делали ещё на «Великой войне». На ходу солдаты надевали влажное обмундирование. Подразделение спешило на восток...

Выйдя из кустов, я тоже стал выжимать свою одежду. Пальто было очень тяжёлое от воды, я его никак не мог отжать, и мне пришлось бросить его. На месте привала бойцов я стал находить много военного снаряжения. Наверно, здесь останавливалась не одна часть. Я подобрал много, как мне казалось, нужных вещей. Все они уместились на мне. Я подпоясался ремнем, на котором имелся патронташ, через плечо перекинул противогаз. Каску брать не стал, она надоела мне ещё в кузове на второй день эвакуации. Нашёл штык-нож и засунул его спереди за ремень. Получился как бы маленький меч. Я остался очень доволен собой и в таком виде продолжил путь. За Вислой я шёл по шоссе, надеясь, что тут немцев нет и меня никто не обидит. За рекой ничего в моем быте не изменилось, все было по-старому. Я всё делал для себя сам. Никто не хотел брать на себя заботу обо мне. На одном из перекрестков был полицейский пост. Полицейский, увидев меня, позвал к себе. Он проверил у меня документы. Свидетельство о рождении мать отдала мне. Заставил всё мое снаряжение снять и оставить у них, объяснив, что меня могут какие-нибудь горячие головы принять за диверсанта. Это было бы ещё хорошо. А если меня в таком виде увидят немцы и примут за партизана, то поступят по законам военного времени? Тогда я очень обиделся на этого человека и решил снова продолжить дорогу по-дальше от посторонних глаз.

Время неумолимо двигалось вперёд, природа постепенно менялась. Равнина переходила в возвышенности, стали преобладать хвойные еловые деревья, попадалась смерека. Я оказался в предгорье Карпат. Кое-где лес не полностью покрывал высоты. Плешины, на которых не было деревьев, старательно были обработаны к предстоящей зиме заботливыми руками живущих

здесь людей. Идти в этой местности я мог только по дорогам. Напрямки через горы у меня не получилось. В горах оказалось много естественных препятствий: мелких горных речек, ручейков, зарослей терновника, ежевики, старых поваленных деревьев, преодолевая которые я потерял очень много сил и времени. Перейдя перевал, весь покрытый вековыми елями, я увидел нагорье, превращенное крестьянами в аккуратные поля. На ровных наделах шла неторопливая сельская жизнь. Люди занимались своим нелегким трудом. Это напомнило мне довоенное время, придав силы невыносимо уставшему телу, и я бросился им навстречу...

Ещё проходя пыльными, песчаными, усыпанными мелкими камешками горными дорогами, я видел внизу в долине сёла, растянувшиеся вдоль быстрых шумных рек. Вся моя радость и беззаботность мгновенно улетучились, когда я увидел солдат. На шапках у некоторых из них были прикреплены орлиные перья. Это были польские «стрелки Подхаланские»³². Они строили оборонительные позиции. Меня по-прежнему мучил голод, и я решил попросить у них еды. Обойдя работающих солдат стороной, я присел на маленький холмик. Рядом был овраг. На дне оврага сидели несколько военных. Это были телефонисты, которые кого-то всё время вызывали, и два офицера. Они не видели меня, занятые своим делом. Тишину разорвал уже почти забытый шум авиационных моторов. Он не вызвал ни у кого тревоги: это шли польские самолёты, первые польские машины, которые я увидел с начала войны. Три «Карасы», как в народе называли легкие одномоторные бомбардировщики, тяжело прорывались навстречу ветру³³. Кто-то из находившихся в овраге, заметив, как они мед-

³² «Стрелки Подхаланские» - войска, обученные ведению боевых действий в горно-лесистой местности. На головных уборах носили в качестве украшения орлиные перья.

³³Р-23 «Карас» - одномоторный легкий бомбардировщик, серийно выпускавшийся в Польше со второй половины 1935 года до середины 1939 года. В сентябрьских боях 1939 года приняло участие 120 машин. Они совершили 164 боевых вылета, сбросили на врага более 50-ти тонн бомб. Около сорока самолётов перелетело в Румынию и Венгрию, остальные были сбиты, либо захвачены Германией или Советским Союзом. Т.Л.Д. - скорость: 240-270 км/час. Предельная дальность в м.: 1260-1300. Предельный потолок в м.: 5800-7300. Вооружение: три пулемета калибра 7,92-мм. Экипаж: три человека. 700 кг. бомбовой нагрузки на внешних бомбовых держателях.

ленно летят, произнес: «На бомбежку загрузились!». С земли им махали шапками, смотрели вслед. Внезапно со стороны солнца показался самолёт. Шасси у него не торчали, как у наших машин, а были убраны. Неизвестный самолёт подлетел очень близко к нашим машинам, а затем вдруг резко дернулся в сторону, словно неожиданно обжёгшийся человек. Потом все увидели, как он снова подлетел снизу к одному из летевших с краю самолётов. У нашего «Карася» показался дымок из нижней части фюзеляжа: польский самолёт нехотя пошёл к земле. Раздался взрыв, на месте падения образовалось дымное облако в виде гриба. Оно очень быстро растворилось на ветру. Немец подлетел сбоку к оставшимся двум машинам. Польские лётчики ничего не могли сделать на своих тихоходных аэропланах. Немецкий истребитель превосходил их во всем. Им оставалось надеяться на чудо. Чуда не произошло. От вражеского самолета отделились маленькие красные огоньки, трассировавшие в сторону борта ближнего бомбардировщика. Самолёт загорелся и взорвался в воздухе. Фашист решил поиграть с оставшимся экипажем. Чуть в стороне он начал делать фигуры высшего пилотажа. Скорее всего, это был опытный ас. Ему было скучно сбивать эти самолёты. Тем временем прямо по курсу польской машины показалось несколько мессершмиттов, немецкие стрелки открыли огонь по поляку. Польский самолёт был сбит. Мессеры ушли выполнять новую задачу, записав на свой счёт еще одну победу над поверженной польской машиной. Ас сделал прощальный круг и улетел.

В овраге все молчали. Тишину нарушил один из офицеров. Он сокрушался, с горечью вопрошая, для чего они тут сидят: справа соседей нет, слева пусто. Связи ни с кем нет. Чего здесь выживать? Все заговорили разом. Внезапно они прекратили спорить, телефонист заметил меня. Офицер рукой дал знак, чтобы я подошёл. Задал вопрос: откуда я здесь? Я признался, что не ел много дней. Поручик что-то сказал одному из телефонистов, и боец куда-то ушёл. Офицеры продолжили свой спор, уже не обращая на меня внимания. Боец пришёл не один, а вместе с уса-

тым сержантом. Сержант принес сумку, такую же, как у солдата, поджегшего танк. Офицер посмотрел, что в ней, и отдал её мне. При этом, заметно нервничая, сказал, чтобы я как можно быстрее уходил с этой позиции. Его слова звучали примерно так: «Хочешь жить, тогда беги отсюда что есть мочи!»... Мне не нужно было повторять два раза. Конечно, было немного обидно, что они торопили меня, но позже я понял: таким образом они хотели меня спасти, хотели, чтобы я выжил в том сентябре. Пробежав столько, насколько хватило моих слабых сил, я сделал привал. У меня была сумка, а что в ней, я не знал. Любопытство сжигало меня. Я открыл подарок. Там был настоящий клад. Сержант не поспешил и дал мне продуктов с лихвой. Теперь мне не придется лазить среди трупов и искать еду. Утолив голод, я пошёл дальше по дороге. Солнце клонилось к закату. Я уже стал подумывать о сытном ужине и ночлеге, как вновь услышал отголоски канонады. Она раздавалась с той стороны, в которой остались «стрелки Подхаланские», значит, они не ушли, остались, чтобы принять бой, чтобы выполнить свой воинский долг до конца...

Ни о каком ужине и ночлеге не было больше и речи. Я старался как можно быстрее уйти подальше от этой канонады. Я очень устал, проходя пешком весьма значительные расстояния. Желание подъехать победило инстинкт самосохранения. Спустя какое-то время я увидел, пустую длинную телегу с запряженной в неё парой коней. Рядом с телегой шли мужчина и женщина. Подойдя к ним, я спросил дорогу на Львов. Они заинтересовались, зачем это мне. Я ответил, что мой отец – танкист, и их часть эвакуируется в район Львова. Мужчина, помолчав, сказал, что он видел, как вчера туда, и показал рукой в сторону, повезли несколько маленьких танков на тягачах. «Может, тебе лучше идти за ними?» - продолжил он. Я спросил: «А что находится в той стороне»? Он ответил: «Венгрия. Но до нее ещё далеко».

И снова мне пришлось идти пешком. Как-то под вечер, когда стало смеркаться, я вышел к деревянному подвесному мосту, натянутому через широкую горную речку. Указателя с назва-

нием этой реки не было. На противоположном берегу я увидел шалаш, у которого горел костёр и стояли вооружённые люди в гражданской одежде. Один из людей, охранявших мост, пошёл в мою сторону. В одной руке у него была керосиновая лампа, в другой - винтовка. Я направился к ним по качающемуся мосту. Идти мне было страшно, я больше боялся раскачивающегося моста, чем человека, идущего мне навстречу. Не доходя до меня, он что-то сказал на незнакомом мне языке. Из всего сказанного я понял, что мне лучше остановиться. Он подошёл ближе, у него на рукаве я увидел повязку. Повязка состояла из двух цветов: голубого и жёлтого. Он снова задал вопрос, теперь уже по-польски. Я сказал кто я такой, но не признался, что ищу часть отца. Сказал, что бегу от войны в Венгрию. Затем караульный снова на польском сказал, чтобы я шёл назад к себе домой, что это - украинская земля и мне нечего тут делать. Во время разговора к нам подошёл ещё один охранник. Разговаривавший со мной отдал ему лампу и подошёл ко мне. Повесив винтовку на грудь, он взял меня за плечи. Я подумал, что он хочет сбросить меня с моста, присел и закричал. Охранник «страшно» усмехнулся, резко развернул меня к себе спиной и больно ударил сапогом в спину. При этом сказал: «пшёл!». Я отлетел вперёд, упал на мост и остался лежать там. Мужчина крикнул, чтобы я как можно быстрее скрылся с его глаз. И для большей убедительности выстрелил из винтовки. Я вскочил и, пригнувшись, побежал подальше от них. Страх пропал сам собой. Я побежал вдоль русла горной реки, с трудом соображая, что произошло. Главное для меня было не потерять сумку с едой. Бежать я долго не мог, сумка всё ещё оставалась слишком тяжёлой для меня: продукты я экономил. Перейдя на шаг, я начал думать, куда я попал. В какое государство? Из географии я немного знал, что там, где пролегал мой путь, живут «гуцулы». Территория эта называется Галиция. Восточная Галиция. Про Украину я знал мало. Это, я думал, там, где живут «москали». Неужто я зашёл в Советский Союз? Я очень испугался и не понимал, как это могло случиться. Идти я решил вдоль

реки. Русло меняло направление, то оно поворачивало, то начинало петлять, идти становилось неудобно, и я решил перейти эту водную преграду. Течение было быстрое, вода холодная, всё дно было усеяно камнями разных размеров. Вода меня сносила в сторону, не давая выйти на другой берег. Самое главное для меня в этот момент было не упасть в воду и не потерять сумку. Постепенно, шаг за шагом мне удалось преодолеть этот поток. На прибрежной отмели я стал собирать дрова, чтобы разжечь костёр и высушить своё бельё. Спички мне дали стрелки вместе с едой, предусмотрительно положив в сумку котелок и ложку. Дрова я собрал быстро, костёр получился на славу, пригодились харцерские навыки. Плотнo поев концентрата каши, я уснул. Проснувшись при свете большой ярко-оранжевой луны, я выбрался на тропинку и с радостным чувством бодрости, сытости и того, что остался в живых, зашагал по ней. Тропинка к утру привела меня к наезженному шоссе. Я сбил установившийся режим. После полудня стал чувствовать усталость. У шоссе я увидел брошенные пустые ящики от снарядов. Снаряды, наверно, были больших калибров. Оттащив ящики подальше в лес, я сделал что-то вроде кровати, сверху накидав разного хлама из тряпья, который подобрал там же, чтобы было мягче.

Теперь я шёл ночами. Хорошо, что луна светила своим холодным светом, указывая мне дорогу. Как-то, идя ночью дорогой среди гор, я увидел на одной вершине большое распятие. Радости моей не было предела, я понял, что я в Польше. Дорога привела меня к какому-то городу. Проходя по затемненным улицам этого городка, я увидел там много военных машин, но танков я не видел. Грузовики стояли около ратуши, занимая всю рыночную площадь. Я решил попросить у солдат еды впрок. Когда я приблизился к машинам, неизвестно откуда появился часовой. Дальше проход был запрещен. Он остановил меня уставным окликом: «Стой, кто идет?». Я подчинился и встал. В ответ на расспросы я стал жалобным голосом просить у часового еды. Подошли другие солдаты. И тут я услышал, что кто-то позвал меня по

имени. Я обернулся, рядом стоял мой отец. Мы бросились друг к другу, обнялись и долго стояли так. Затем отец спросил про маму. На глазах у нас у обоих были слезы. Я рассказал ему, что мы потерялись во время бомбёжки. Он снова обнял меня и так, тесно прижавшись друг к другу, мы и пошли. Отец привел меня на место своей ночёвки. Это был одноэтажный прямоугольный домик. Узкая его часть выходила на улицу, остальная часть дома располагалась во дворе. Хозяйкой оказалась приветливая женщина, на вид немного старше моей матери. Отец попросил её нагреть побольше воды. Я не мылся в бане с самого начала войны. Пока грелась вода, меня накормили, потом пошли расспросы, как я сюда дошёл. Я не хотел расстраивать отца и сказал, что меня довезли отступающие войска. Я вымылся с мылом, вода была тёплая, меня очень быстро разморило, и я заснул. Впервые за много дней на мягкой кровати, раздетый, на чистом постельном белье. Утром следующего дня отец принес мне новую одежду, новую обувь. «Эти лохмотья, - он показал на то, что я носил, - нужно выкинуть». За время моего пути я сильно пообносился, в некоторых местах моя одежда была порвана. После завтрака я заметил, что отец чем-то озабочен: с трудом выдавливая из себя слова, заметно через силу старается быть веселым. Затем он начал неприятный для него разговор. Говорил о воинском долге, о чести польского солдата, о том, что неоднократно на протяжении длительной истории польская армия вынуждена была покидать границы своего государства, чтобы за пределами родины продолжать борьбу. Он говорил долго. Я понял, что они уходят в Венгрию, оттуда - во Францию. Взять меня с собой он не может. Отец договорился с квартирной хозяйкой, чтобы я пожил у нее. Когда положение нормализуется, то я вернусь домой. Он дал мне денег на обратную дорогу, на всякие расходы. «Ты уже взрослый, настоящий мужчина», - сказал он и не захотел, чтобы я пошёл провожать его. Поцеловал меня и ушёл...

На следующий день за окном послышалось тарыхтение мотоциклов, в город въехали немцы. Хозяйка попросила меня сидеть

дома и никуда не выходить. Ночью я проснулся от пулемётных выстрелов, где-то на улице стреляли, затем раздались взрывы гранат, до нас дошел запах дыма, что-то где-то горело. Под утро стрельба стихла. Днём снова был слышен шум мотоциклов и другой военной техники. В обед к хозяйке зашёл сосед. От него мы узнали, что фашисты из города уехали, что в городе нет никаких войск, нет никакой власти. Люди стали ждать завтрашний день, гадая, что он принесёт. На рассвете я услышал, как за окном по мостовой стучат копыта десятков коней, в город вошли части Красной армии. Вечером в хату, где я жил заскочили несколько красноармейцев. Двое из них завезли пулемёт, к станку которого были приделаны небольшие колёсики. В большой комнате висел портрет маршала Пилсудского под стеклом. Советские солдаты сорвали изображение вождя со стены и стали его топтать. Разбили прикладами стекло и портретную рамку. За этим занятием, их застал командир. Он, что-то крикнул. Солдаты бросили расправу над «Пилсудским» и покинули наш дом. Так прошло несколько дней, «москали», как их всё называли, никуда из городка не ушли. Моя хозяйка уговорила меня собраться и отправиться домой. «Пока неразбериха, может, повезёт, и дойдешь до дому!». Она была права, т.к. немного позднее немцы и большевики поставили патрули на линии раздела. И если бы они поймали меня, то отправили куда-нибудь в Сибирь валить лес...

Купив еды в дорогу, я собрался в путь в конце двадцатых чисел сентября 1939 года. Шёл я домой. Сосед квартирной хозяйки посоветовал мне идти только днем по дорогам и не прятаться по лесам: «Варшава сдалась, кампания закончена, оккупанты не будут приставать к детям». Я попрощался с людьми, давшими мне приют в это страшное время, и ушёл, соблюдая все меры предосторожности. Без приключений я перешёл «зелёную границу»³⁴. Оказавшись на территории, оккупированной Германией, я старался ничем не привлекать к себе внимания. Кроме немецких патрулей мне попадались люди в гражданской одежде

³⁴Зелёная граница - упрощённое название демаркационной линии раздела между войсками фашистской Германии и Красной армии в 1939 году.

де с оружием и повязками на рукаве. Надписи на повязках были на немецком языке. Из разговоров прохожих я узнал, что это поляки, которые после прихода врага вспомнили о своих далёких немецких предках и стали прислуживать оккупантам, что этих «фольксдойче» нужно особенно остерегаться, что они, чтобы выслужиться перед своими новыми хозяевами, готовы за тридцать серебрянников мать родную продать. Мне повезло, я не вызвал подозрения ни у немецких жандармов, ни у их новых помощников. Поезда уже начали ходить. Я на первой попавшейся мне железнодорожной станции купил билет в направлении поближе к дому. Сев в вагон, я почувствовал облегчение - скоро буду дома, увижу маму. С пересадками я доехал до Познани. Мне повезло, патруль проверил у меня документы и не высадил. Я тогда ещё не знал, что земля, где был мой родной дом, отошла к Германии. И я ехал не к себе домой, а в немецкий «Рейх». От Познани я пошёл пешком, к нам в город поезда не ходили, железную дорогу только строили, позже её закончили строить военнопленные из России, наших угнали в Германию. Для меня пройти это расстояние от Познани до дома было, что съесть горсть жареных семечек. В городе я встретил соседку по подъезду. Она очень удивилась, увидев меня. От неё я узнал, что моя мать жива, но живёт по другому адресу. Я поднялся на второй этаж и позвонил в квартиру, номер которой мне дала прежняя соседка. В прихожей раздались шаги, мать спросила, кто там. Я ответил, за дверью повисла тишина, затем я услышал плач. Я стал стучать в дверь, повторяя, что это я, и я вернулся!

После столь волнующей встречи начались повседневные будни. Жизнь в оккупации. Всех гражданских жителей с территории военного городка немцы выселили, кого куда. Моей матери повезло. Когда она вернулась из эвакуации домой, немецкий комендант увидел, что у неё в документах написано место рождения - Гамбург. Он принял её за германскую подданную и выдал ордер на проживание по другому адресу. Другим жителям нашего военного городка повезло меньше: их выселили в

«Генерал-губернаторство», а некоторых - в гетто³⁵. Мать пользовалась теми же правами, что и немцы, хотя была этнической полькой, и никаких дальних немецких предков у неё не было. Я испытал на себе все унижения, которые новая власть уготовила полякам, проживающим на этих землях. Этим бесчеловечным отношением оккупанты хотели очистить территорию от лиц не германского происхождения. Они вызвали только обратную реакцию - ненависть к себе и создание больших групп сопротивления. Со временем я вступил в молодежную подпольную организацию. Мы занимались сбором информации, нас использовали в качестве курьеров, мы расклеивали листовки с правдивой информацией о положении на фронтах, в которых население призывалось к борьбе против захватчиков. Но всё это было не то, мне хотелось с оружием в руках сражаться с ненавистным врагом. Летом 1943 года в официально издаваемой немцами газете специально для оставшихся здесь поляков была напечатана статья о зверствах большевиков. В статье писалось, что в районе Смоленска обнаружены захоронения польских военнослужащих, попавших в 1939 году в плен к советским войскам. Сообщалось, что их расстреляли органы Н.К.В.Д. весной 1940 года, в конце статьи приводился список расстрелянных. В этом списке была фамилия моего отца. Я не поверил, ведь отец ушёл в Венгрию, но тень сомнения все же зародилась у меня в душе. На войне всякое случается. Я очень обрадовался, когда в августе 1944 года восстала Варшава³⁶. Чуть позже наше подпольное подразделение «Армии Крайовой» получило приказ идти на помощь сражаю-

³⁵Генерал-губернаторство - наименование административно-территориального образования на территории оккупированной гитлеровцами Польши.

³⁶ Варшавское восстание – с 1.08 по 2.10.1944 года. Военный руководитель восстания - генерал Тадеуш Комаровский (псевдоним Бур). Закончилось поражением восставших, в результате которого повстанцы были заключены в лагеря для военнопленных, а гражданское население в своем большинстве - выселено из города. По приказу Гитлера Варшава была полностью разрушена. Потери повстанцев составили убитыми и пропавшими без вести около 17-ти тысяч человек; еще 17 тысяч оказалось в плену. Гражданского населения погибло около 150-ти тысяч человек. Немецкая сторона потеряла около 16-ти тысяч человек убитыми и пропавшими без вести. Восстание не достигло ни военных, ни политических целей, но стало для поляков, для всего мира символом мужества, решительности в борьбе за свободу и независимость.

щейся столице. Командир не хотел брать меня в этот поход, но я был настойчив, рассказал ему, как выжил в сентябре 1939 года. Я убедил его, что буду полезен. Он взял меня...

Вскоре всё отчетливей стал слышаться лай немецких гаубиц, обстреливающих осажденную со всех сторон, но не покоренную Варшаву. Командир решил меня и еще двух бойцов послать в разведку. Оружия нам не дали. Командование разумно посчитало, что мы сможем сойти за беженцев, и если мы попадем в плен, то у нас останется шанс выжить. В августе 1944 года вблизи Варшавы немцы расстреливали всех поляков, пойманных с оружием, независимо от возраста. Мы, трое подростков, должны были идти впереди отряда и своевременно сообщать о противнике. День прошёл удачно, противник не был обнаружен, и отряд продолжал свой путь. На следующий день мы, не слишком задумываясь об опасности, настолько предыдущий день расслабил нас, вошли на двор какого-то лесничества. Там стоял большой двухэтажный деревянный дом с огромной застеклённой верандой, вокруг дома располагались хозяйственные постройки. По краям двора под навесом стояли стога сена, вдоль деревянного невысокого забора в поленицах сушились на летнем солнце дрова. Не подозревая о том, что противник может застать нас врасплох, вся наша группа оказалась в центре двора. В это время во двор лесника влетели немцы верхом на лошадях. Мы испугались и рассыпались в разные стороны. Я бежал, впереди меня была невысокая поленница дров, около неё я споткнулся и упал. Один из всадников решил перескочить через эту поленницу верхом. Животное задело копытом верхнюю часть поленницы, но не упало, поскакало с всадником дальше. Свежие еловые дрова завалили меня, спрятав от преследователей.

Я пролежал под ними до ночи, запах еловой смолы, издаваемый поленьями, доставлял мне большие неудобства - очень хотелось чихнуть. Но я терпел, это могло выдать меня. Ночью я осторожно вылез из своего укрытия. Отряда поблизости не было. С наступлением утра я направился на его поиски. Я шёл на грохот канонады, которая не прекращалась даже ночью. На одной из

лесных дорог меня остановил немецкий патруль. Оружия у меня не было, и я не очень испугался. Меня привели в село. В одном дворе была вырыта яма около трех метров глубиной. Немец приказал мне прыгать на дно. Очутившись в ней, я обнаружил, что там я не один. Второй пленник сказал мне, чтобы я не очень обнадуживал себя. Если я не из этого села, то меня ждет расстрел. Сверху доносился звук губной гармошки, это конвоир играл для себя разные мелодии, чтобы не скучать на посту. Партизан они не боялись, в селе стоял сильный гарнизон. На допрос здесь водили под вечер. К этому времени старшие у карателей были уже пьяные, и им проще становилось расстреливать пленников. Все это мне рассказал сосед, он был здесь уже давно. Вечером в яму опустили лестницу, конвоир осветил фонариком на нас и указал пальцем, кому вылезать. Мне повезло, выбор пал не на меня. Мой сотоварищ попрощался со мной и вылез по лестнице наверх. На мое счастье немец не убрал лестницу. Я слышал, как звук его губной гармошки удалялся всё дальше от меня. Это был шанс! И я воспользовался им. После долгих злоключений я наконец-то нашёл партизан. Мне поверили, дали оружие. Я был очень горд, что теперь могу за всё отомстить оккупантам...

На минуту голос стих. Старая женщина замолчала и прекратила чтение. Она читала старый дневник молодого партизана. «Извините, что я помешала Вам спокойно ждать поезда», - сказала она своей собеседнице. «Откуда у вас эти записи?» - спросила женщину её соседка. «Этот юноша был тяжело ранен в одной из атак. Мы шли на помощь Варшаве, но немцы оказали сильнейшее сопротивление, разбив наш отряд на подступах к столице. Я была юной медсестрой, - продолжала рассказ женщина, - молодой человек, чувствуя свой скорый конец, попросил сообщить матери, что он не пропал без вести на этой жестокой войне, а как солдат Войска Польского с оружием в руках погиб в боях за Варшаву. В этом была правда. Он также передал мне записи, в которых описал историю своей жизни».

Все это я услышал в зале ожидания в городе Валбжеге в ночь с тридцать первого октября на первое ноября³⁷. Я ждал поезд, чтобы поехать в город Душник Здруй. «А что было дальше?» - обратилась женщина к рассказчице. Разговор, казалось, оборвался. «Это все?» – «Да». «А что же стало с мальчиком?» - не унималась ее собеседница. «Он вскоре умер. Я положила его дневники к себе в полевую сумку. Мы не успели вынести его тело из лазарета. Это был старый сарай в лесу с земляным полом, покрытый соломой. Когда каратели обнаружили нас, я успела зарыть документы на поляне чуть в стороне от лазарета. Малочисленная охрана приняла бой. Её очень быстро уничтожили. Фашисты ворвались в помещение госпиталя. Они застрелили мужчину врача, нас, молодых медсестер, за волосы выволокли наружу. Они хотели позабавиться с нами, поиздеваться над нами. Из сарая доносились выстрелы, потом огнемётчик подошёл к постройке и направил горящую струю на госпиталь. Он загорелся, оттуда слышались крики и стоны заживо сгорающих людей. Эсэсовцам эти крики надоели, и они закидали горящий сарай гранатами. Нас, униженных и избитых, посадили на телегу и отправили в комендатуру. Потом я оказалась в концентрационном лагере в Германии, - продолжала свой рассказ пани. - Когда закончилась война, я исполнила просьбу юного партизана. Разыскала его мать, он мне сообщил перед смертью её адрес. Я ей рассказала, что он погиб в бою и похоронен в братской могиле, что он не пропал без вести на той войне. Его мать поведала мне, что его отец тоже погиб летом 1944 года во Франции. Сгорел в танке, когда Первая польская танковая дивизия выполняла свою боевую задачу по окружению немцев в «Фалезском котле»³⁸. «А что, у партизана есть могила?» - спросила рассказчицу её собеседница.

³⁷ 1 - 2 ноября - День всех святых и День поминовения усопших.

³⁸ Фалезский котел – операция получила название по имени французского города Фалез. 21.08.1944 года Четвертая канадская танковая дивизия соединилась с Первой танковой польской дивизией у французского населённого пункта Кудер. Потери Первой польской танковой дивизии: 325 убитых (21 офицер), 1002 раненных (35 офицеров), 114 пропавших без вести; подбито 140 танков, из них 80 потеряно безвозвратно. Источник: Solarz J. Falaise 1944. Warszawa. 1996. Потери немцев составили убитыми около 25-ти тысяч человек, пленными около 45-ти тысяч.

Старые фотографии

«Да, есть. На месте сгоревшего лазарета насыпали высокий холм и поставили большой берёзовый крест. Через несколько лет после той бойни, преодолевая в себе боль, я приехала на памятное место и разыскала чудом сохранившиеся бумаги»...

В это время объявили о посадке в поезд на Душник Здруй. Я встал и вышел на перрон, мне нужно было ехать на могилу к другому неизвестному герою той далекой сентябрьской войны.

ТАМ И ТУТ

Иркутская история

Она была принцесса, жила в большом сталинском доме (отец носил на лацкане значок Сталинской премии), ходила в группу учить немецкий и училась играть на фортепьяно. Потом поступила в театральный, не ночевала на вокзале во время вступительных экзаменов, не жила в осклизлом общежитии, не стояла в очереди в душ, не ела месяцами одни макароны с бесплатной кислой капустой. На социальном лифте проехали уже ее родители. Впрочем, она была умна, приветлива, обаятельна, талантлива, и стальное ядро внутри было не заметно.

Он тоже был принц, правда отец его уже поплыл от плотного многолетнего пьянства, и ему начали отказывать от дома некоторые другие старые принцы, а мать так и не научилась чувствовать себя не на сцене провинциальной оперетки, где в свое время она была неотразима. Вот он-то, юный принц, в самом деле был яркий талант, так что гадкое мерзкое нутро было невозможно разглядеть за благородными позами и глубокими модуляциями бархатного голоса.

Естественно, они считались парой, и она влюбилась и не смотрела кругом, а вокруг было много чего интересного. И хотя она мне сказала: «Звоните, я вам всегда рада», это был знак вежливости, не более.

А потом принц ее элементарно бросил, я не спрашивал о подробностях, и она быстро вышла замуж за простого перспективного человека с золотой душой, и говорили, что у него врожденное

чувство сцены, откуда что берется, ведь приехал бог весть откуда и вилку норовил держать правой рукой.

И когда выучивал текст, то произносил его звучным убедительным басом, как будто непрерывно думал о нем бессонными ночами. Но в семейной жизни был немного занудой. Принцем, знаете ли, надо родиться.

Я встретил ее в состоянии глубокой беременности, она мне очень обрадовалась и рассказала, что в театре ее роли быстро расхватывали и ее не вспоминают, но она собирается вернуться сразу после родов и всем покажет. Так и произошло.

А на гастролях в Иркутске вдруг на нее накатило, то ли Шекспир действительно верил в свои диалоги, то ли партнер перестарался с безумными взглядами (а его жена ставила спектакль в Москве и он был без присмотра), но, в общем, она на мгновение решила отдаться чувству, не сопротивляясь неминуемому, броситься с головой в омут. Чего, сами понимаете, принцессы никогда не должны делать, потому что так не делают. И ровно через три минуты она взяла себя в руки и не сделала никаких глупостей, но все это было на сцене, и спектакль получился необыкновенный, чудесный, волшебный. И что говорить, чувств не скроешь, ведь и Станиславскому с Лилиной пришлось пожениться после спектакля «Коварство и любовь» по Шиллеру.

Актерам это показалось просто смешно. И только партнер настолько увлекся, что потом в Москве ушел из семьи и прибил к другой принцессе, чья мама была секретарь партбюро и вертела искусством как хотела.

А они прожили вместе с мужем еще пятьдесят лет и получили все звания и премии, и когда я ее встречал, она мне всегда говорила: «Позвони, я тебе всегда рада». Но это была, наверно, только вежливость. А иркутскую историю мне рассказала жена

ее партнера, прекрасный режиссер без театра, собственно она не рассказала, а сыграла за всех действующих лиц со всеми мизансценами и диалогами. Как говорится, жизнь – это театр, и люди в нем актеры.

Там и тут

Как долго был я там,
И вот я тут.
А. Хвостенко

Дорогой читатель, случилось ли тебе лежать в больницах?
Ну, я свое еще не все отлежал, но некоторый опыт имею.

Что было хорошо в Советском Союзе (никто ведь и не говорит, что плохо было вообще все), так это возможность вызвать врача на дом. Или даже скорую помощь. При капитализме ты можешь рискнуть вызвать амбуланс, приедет к тебе фельдшер. Это все не то. А если в больнице тебя не госпитализируют, то придет тебе от амбуланса немаленький счет, и ходи с ним разбирайся.

В 1958 году ближе к вечеру у меня заболел живот справа. Температура была 37,5. Если нажать и резко отпустить, то отдает в область пупка. Вызвали врача.

Врач сказал, что похоже на аппендицит. Вызвали скорую, и она меня отвезла в пятую городскую больницу, как говорят в Москве «градскую».

Уже была ночь, в приемном покое врача не было, наверно он спал, крутилась стайка практиканток. Они меня окружили и щебетали о своем, пока я смотрел в потолок и думал о вечном. Впрочем, они мне настойчиво рекомендовали оперироваться, ведь тогда бы им дали ассистировать, а им было скучно. Взяли анализ крови, лейкоциты оказались в норме. Появился заспанный врач, помял мне живот, сказал, что аппендицита он не находит. Разочарованные девицы ушли. Утром меня отпустили.

В 1962 году я уже был женат и у нас был ребенок. Как-то теща достала где-то телятины, приготовила и подала ее на обед. Немедленно у меня начался понос, отчасти даже с кровью. Теща считала, что врача вызывают, только когда человек отдает богу душу и лежит под образами, но в моей медицинской семье думали иначе, так что я сам вызвал себе врача. Пришел врач и сказал, что похоже на дизентерию, он бы рекомендовал госпитализацию. Не так уж мне хотелось ехать в инфекционную больницу, но тут семья, ребенок. Дизентерия не холера, но все-таки мало ли что. Теща тоже была решительно «за». Так меня увезли в инфекционное отделение Боткинской больницы. Потолок 5 метров, кафельные стены. В палате человек десять разного состояния здоровья. Трое лежат без сил неподвижно, носы заострились, остальные чувствуют себя прекрасно и веселятся, как могут. Мне выдали персональный горшок с личным номером для отправок, прописали левомецетин. Понос тут же прекратился. Как писал мой друг, поэт и академик, Владимир Захаров: «Я съел люля-кебаб на улице в Ташкенте, и вот она, дизентерия».

Один из больных со мной поделился: «Если у тебя начались неприятности и желательно дней на десять исчезнуть, нет средства лучше, чем дизентерия. Вызови врача, сообщи ему симптомы – и ты тут же в больнице, тебя нет, и никто ничего не знает, где тебя искать». Из таких маленьких секретов состоит знание жизни. Не буду описывать некоторые неприятные процедуры, которым меня подвергли перед выпиской. Когда я появился в своей лаборатории, мой друг Буба немедленно спросил: «А какой у тебя был номер горшка?»

В 1982 году тяжело заболел близкий родственник, мы не справлялись с уходом. В больницу его не брали. Из приемного покоя отправляли обратно домой. Тут случайно в Москве проездом из Праги оказалась Женя К., его старая подруга юности.

По секрету я знал, что в 20-х годах она была троцкистской активисткой, ходила на сходки в лес, распространяла «Листок оппозиции». Как-то про нее забыли, она окончила институт, вышла замуж за чешского коммуниста. Во время войны командовала автовзводом, возила снаряды на передовую. Потом жила в Чехословакии, была крупным руководителем, во время Чешской весны ее исключили из партии за сталинизм. При Гусаке не восстановили. Она работала инженером-консультантом, писала инженерные книги. Она мне позвонила и сказала: «Я записалась на прием к начальнику Мосгорздрава, ты на всякий случай тоже приходи». Я пришел. Этот прием длился ровно три минуты. Чиновник на нее взглянул, взял ее заявление и написал: «Госпитализировать». Не «по возможности», а просто, без вариантов. Это показывает, что опытные чиновники умеют быстро считать в уме и разбираться в людях с первого взгляда.

Хочу еще дописать про медицинские взятки. Для меня это всегда было мучение. Как-то я спросил своего друга, который организовывал лечение моего родственника, конечно, на основе каких-то обменных услуг, надо ли дать взятку, подарок или там что-то еще? Он сказал: «Как тебе сказать, хуже от этого не будет».

Уже поживши лет десять в Израиле, я поехал на научную конференцию в Переяславль. Оттуда мне надо было лететь в Стокгольм. Автобус должен был нас забрать в Москве около метро «Сокол», и я на тротуаре мирно озирал изменившиеся окрестности. Тут сзади и сбоку задом подкралась газель – новая реальность московского быта – и треснула меня в глаз. Я упал и повредил палец на руке.

Вместо глаза была буро-красная гематома на половину лица. Такси довезло меня до травмпункта во Второй градской больнице, там спросили полис, который, к счастью, у меня оказался. Врач хладнокровно оттянула вздувшееся веко и сказала: «Гематома. Пройдет». Ни рентгена, ничего. Надевши черные очки, я

полетел в Стокгольм. Гематома медленно день за днем сползала вниз. Глаз понемногу приоткрылся. В Стокгольме люди не встречаются в чужие дела. Никто мне ничего не сказал. Там, мне рассказывали, однажды руководитель большой левой партии, к сожалению, страдавшая по примеру старших товарищей алкоголизмом, торжественно описалась на парадном спектакле в присутствии королевской семьи и дипкорпуса. В тишине было слышно, как струйка журчала, стекая по ступенькам бельэтажа. Никаких упоминаний об инциденте не последовало. По возвращении в Израиль я сделал рентген и пошел к врачу. Глаз прошел, но палец не сгибался. Врач, внушительного вида араб, по-русски попросил меня рассказать историю травмы. Говорил он безо всякого акцента. «А откуда вы так знаете русский?» «Я окончил медицинский институт в Киеве». Еще он мне сказал: «Я же не знаю, правду вы мне говорите или нет. Может быть, вы его дергали, пытались вправить.» Палец на месяц положили в гипс. После лечения палец заработал.

В начале 90-х прибывшие в Израиль из СССР врачи сдавали суровый экзамен, жаловались, что их затирают местные коллеги. Все равно это был непреодолимый поток, теперь русскоязычных врачей, как говорится в математике, «всюду плотно». Но тогда ходила такая история, очень возможно, что чистая правда. Излагалась она так. В Израиле нет власти выше верховного суда. И вот как-то было замечено, что члены суда очень много времени проводят в мужском туалете. Выяснилось, что там, в качестве уборщицы, работает пожилая женщина – врач из России, без местного разрешения на работу врачом, замечательный диагност и специалист, дает бесплатные советы. И судьбы стоят к ней в очереди со своими проблемами.

В России средняя продолжительность жизни мужчины составляет около 58 лет, а в Израиле 81. Иногда приходится бывать на кладбищах, посещать похороны. Если посмотреть на могильные

надписи, то видно, что люди привозят свой срок с собой: если имя говорит, что человек приехал из бывшего СССР, то возраст его, как правило, в пределах 58 лет, а у местных уроженцев это все-таки 81-83.

Менеджер по мясу

В Израиле рынок русской журналистики очень узкий, зарплаты маленькие, газеты живут и умирают, как мотыльки. Резервная армия безработных дышит в затылок. Журналистка вернулась в Москву. Когда-то она работала в «Московском комсомольце», «Неделе», брала интервью, сидела вечерами в Доме журналиста, махала приветливо ручкой. Все это исчезло как дым.

Знакомые устроили ее временно в универсам – менеджером по мясу. Она предупреждала, что к прилавку торговать не встанет ни в коем случае – это исключено. Ее заверили, что понимают.

Ну и конечно, настал момент, что торговать некому, милочка, ну вы же должны войти в положение, что же делать, исключительные обстоятельства, мы же все в одной лодке. В общем, уболтали, она встала за прилавок, только на полчаса. И за эти полчаса, как специально, перед ней прошли все ее знакомые из прежней жизни, приветливо ей кивая с другого берега: «Ах, так вы теперь в торговле, понимаем...».

Прием

На самом деле из всех книг Александра Грина на меня наибольшее впечатление произвела его автобиография. Там он, наравне с другими событиями, подробно и безо всяких фантазий вспоминает, где и что он ел, если иногда удавалось. Что же, его можно понять. На процессе иваново-вознесенских ткачей знаменитый адвокат Плевако говорил: «Мне, давно сытому человеку, трудно вам об'яснить, что чувствуют голодные люди». Я тоже кое-что помню на этот счет.

Мои воспоминания связаны со слякотным мутным ноябрьским днем 1983 года. Андропов завершал свое земное существование, но еще пытался управлять из больничной палаты. «От него злодеяний ждали, а он чижику съел», как писал Салтыков-Щедрин. Устроил облавы в кино, банях и ресторанах. Продовольствие в Москве еще можно было купить, но это требовало усилий. Как-то мы с женой купили мясо в магазине и гордо несли его домой. У нашего под'езда на Кутузовском проспекте сидела старушка, которая нам сказала: «Это у вас, милые, что такое? Мяса? Эта мяса городская, мы такую мясу собаке даем, у нас мяса цековская!»

В это время одна английская фирма решила проникнуть на советский рынок. Она сняла офис в гостинице «Космос» и созвала представителей министерств и ведомств на презентацию. В нашем заведении приглашение попало к зам. директора, а он переправил его ко мне. Я отправился к метро ВДНХ, и дальше в «Космос», нашел этот офис, и сел слушать их доклады. Собралось всего человек сорок. Четыре часа фирма рассказывала про свои модемы, телефонные станции и электронную почту. То есть стоит найти валюту и заплатить, и будет вам сразу счастье, комфорт и технический прогресс. По мере их докладов народ понемногу рассасывался. К концу остались самые крепкие – человек десять. Проверенные кадры: Минсвязи, Госснаб, радиоэлектронная промышленность, кооперация, т. е. я сам. В конце дама, вице-президент, вдруг всех пригласила на прием. Никто этого не ожидал. В программе этого не было. Нас провели в зал для приемов, где был накрыт стол человек так на сто. Наверно, рассчитывали по максимуму. Это было что-то из коммунистической мечты, всего по потребности, собственно даже гораздо больше. Там были балык, осетрина, семга, икра такая и сякая, копченые колбасы, ветчина, шейка, жульены, не помню, может и фуа-гра, т. е. паштет из гусяной печени. Водка, коньяк, вина, и это во время почти сухого закона. В серебряном ведерке стояло шампанское. Какой-то пир во время чумы. Народ малость обалдел и озирался. Англичане

округлыми жестами приглашали приступить. Я посмотрел на этот стол и почувствовал, что мне не то что есть и пить – жить не хочется. То есть как-то нет такого желания. Как писал Булгаков: «Каждый день ходить в пароходство – да вы смеетесь!» Довольно это было вообще-то обидно. Народ, однако, собрался с духом и решил, что добру не пропадать же зря. Крепкий малый из электронной промышленности налил себе полный стакан водки, посмотрел сурово и подозрительно по сторонам и выпил, почти как в фильме «Судьба человека». Взглянул вокруг, налил еще один полный стакан, и опять выпил. Вид его был самый мрачный, казалось, он хотел сказать: «Ну, достали... А пошли бы вы все!» Около меня угощалась переводчица, с полным ртом она еще что-то щебетала, вела светскую беседу. Специалисты из Госснаба пили красное вино и загружались с обеих рук. Люди из Минсвязи активно общались с вице-президентшей. Между тем один из них сделал себе многослойный бутерброд. Он положил колбасы и ветчины, следующим слоем разной рыбы, и еще слой из паштета. Это солидное сооружение он воткнул себе в рот, но тут дело застопорилось надолго. Он не мог ни сомкнуть челюсти, ни вытащить бутерброд обратно, и так и стоял с заплombированным ртом и с вытаращенными от ужаса глазами, как своеобразный символ международной торговли, высокой технологии и сотрудничества на ее базе. Никто не собирался прийти к нему на помощь. Мало помалу стол все-таки пустел, а лица участников начали багроветь.

Я подумал и выпил немного коньяку. Закусил икрой. Совершенно не помогло. Медленно я отошел в сторону и вышел из зала. На улице шел мокрый снег. На следующий день на работе мне сказали, что в этот день наш директор поднялся на пятнадцатый этаж, с трудом протиснулся в окно и прыгнул наружу. Наверно у него были свои резоны. Какие именно резоны – никто не знал. Через два дня его хоронили.

А эта фирма на русский рынок в конце концов все-таки про-рвалась.

О филологической гипотезе Арнольда

Известный (считается, что самый известный) советский математик последнего времени, Вл. Игоревич Арнольд, написал однажды филологическую работу: Об эпитафе к «Евгению Онегину», она напечатана в Изв. РАН, сер. языка и литературы, 1997, 56(2), 63, а также в книге «Владимир Игоревич Арнольд. Избранное-60», М: Фазис, 1997.

Там Арнольд пробует доказать, мне кажется не особенно убедительно, что этот эпитаф взят не из частного письма, как указано у Пушкина, а из письма L знаменитого эпистолярного романа «Опасные Связи» Шодерло де Лакло. Насколько я знаю, это его единственная филологическая работа.

Сам он к этому исследованию относился очень серьезно, считал его озарением, наподобие математических открытий, включил в число избранных произведений.

Как бы то ни было, я сыграл важную роль в появлении этой работы. Сам роман на французском был куплен Арнольдом в Париже около 1959 года, когда он впервые поехал во Францию. В 1966 году Арнольд мне сказал, что он ищет, кто бы мог перевести с французского книгу Пуанкаре «Новые методы небесной механики» для трехтомника трудов Пуанкаре в серии «Классики науки». Это был первый том.

Я сказал, что мы с женой (тогда это была А.А. Бряндинская) могли бы за это взяться. Арнольд был редактором. В течение нескольких месяцев я каждый вечер возил к Арнольду домой на Мичуринский проспект куски перевода и мы его обсуждали. Там-то я усмотрел у него книгу Шодерло де Лакло и взял почитать. До этого я читал только русский перевод издательства Академия, мне кажется я его брал у Аверинцева. Так или иначе, эта книга лежала у меня лет пятнадцать, до 1981 года, когда под действием неумоли-

мых укоров совести я позвонил Арнольду и вернул ему книгу. Совершенно уверен, что без этого моего этического поступка, никаких его исследований относительно эпиграфа не произошло бы.

Арнольд, конечно, читал «Опасные связи» до того, как я пробовал книжку умыкнуть навечно, но озарение к нему пришло уже в 90-х, когда он переехал в Париж и приземлился в университете Дофин-9. Если бы у него не было с собой книжки, он бы не смог проверить точный текст письма L, и озарения бы не случилось. Так что моя роль безусловно значительна.

Стеснительность.

Мужчине довольно неловко предложить женщине вступить в определенного рода контакт. Многие предпочли бы просто заплатить. Не у каждого язык удачно подвешен.

Я в Стокгольме познакомился с Сашей - это был такой мальчик из Ленинграда, профессорский сын (интеллигент во втором поколении). Я думаю, что его отец-профессор вначале пас коров. Саша старался пробыться на Западе, работал временным исследователем, очень старался. К сожалению, его контракт не продлили, он был очень зол. Я ему пытался втолковать, что таковы правила этой игры, но он не соглашался, а усматривал интриги и злую волю.

Немного я у него разжился книгами - у него была привычка книгу прочесть и выбросить.

И, конечно, у него была проблема с личной жизнью. В Швеции свободные женщины ходят в бар и там пьют пиво.

Время от времени кто-то к ним подходит, угощает пивом, завязывает знакомство.

Саша регулярно туда ходил, пил пиво, которое в 10 раз дороже, чем в магазине, но подходить не решался. Потом он уехал в Лунд, нашел себе другую работу в фирме, немного обустроился.

Старые фотографии

Личной жизни все равно не образовалось. В Ленинграде девушки, как он рассказывал, через неделю после знакомства обязательно норовили занять у него крупную сумму, даже скудно.

При очередной встрече он мне рассказал забавную историю. Он летел в Лунд из Петербурга. Рядом сидела привлекательная девушка и очень переживала. Она, оказывается, познакомилась в интернете с каким-то арабом и летела к нему на пробное свидание - а возможно, и пробную совместную жизнь. Саша проникся к ней некоторым участием и сказал: «Ты на всякий случай возьми мой телефон и адрес. Эти арабы, знаешь ли, с ними не знаешь, как дело обернется. В случае чего звони».

Он как в воду смотрел. Она заявила к нему в тот же вечер. Оказывается, араб подготовил ей знатную встречу, пригласил троих друзей и решил устроить коллективный митинг, раз уж попалась такая дура. Она с трудом отбилась, вырвалась и прибежала по единственному альтернативному адресу. Саша ее временно поселил, обратный билет у нее был через месяц. Она ему вполне нравилась. Как ей объяснить про свои намерения, он не знал. Наконец придумал и сказал ей так: «Тебе же надо тут чем-то заняться. Вот я думаю - самое лучшее - это проституция. К примеру, я готов тебе платить по сто долларов - как ты на это смотришь?» Выяснилось, что это была ложная идея.

Девушка надулась, и хотя жить продолжала, общаться перестала. Потом она уехала и история закончилась. Саша был очень огорчен. Я ему сказал: «Саша, почему было не сказать просто - ты мне нравишься и все такое. Глядишь, девушка и пошла бы на встречу». Саша сказал: «Да как-то было неудобно, неловко. Чего это я вдруг, с какой это стати...»

***БИБЛИОТЕКА В МОЕМ ГОРОСКОПЕ.
ВОСПОМИНАНИЯ.***

ПОКИДАЯ МОСКВУ

Если бы мне, коренной москвичке, в 1971 году, когда я выпорхнула из МГУ, окрыленная перспективой блестящего будущего филолога-слависта, предрекли, что через восемь лет я уеду в Америку, буду жить в провинциальном Бруклине, проработаю тридцать лет в Бруклинской публичной библиотеке, дослужусь до заведующей одним из районных филиалов и обрету невысоко парящее, но земное, устойчивое человеческое счастье, я бы не только не поверила, но даже, может быть, фигурально плюнула такому псевдо оракулу в лицо. Однако все сложилось именно так. Видно, Америка и бруклинская публичка были начертаны в моём гороскопе, а от гороскопа, как говорится, спасенья нет.

Итак, я закончила МГУ, и меня по большому благу устроили работать систематизатором во Всесоюзную государственную библиотеку иностранной литературы (ВГБИЛ). Зарплата смехотворно стандартная – сто рублей плюс дополнительные двадцать (за два иностранных языка), но занятие вполне интеллигентное и даже в какой-то степени творческое – просматривать чешские и польские книги по литературоведению и лингвистике и давать краткое описание их содержания для предметного каталога. К тому же, работать посчастливилось в окружении истинных интеллектуалов, людей средних лет, кандидатов и даже докторов наук, у которых по той или иной причине карьера на научной или литературной стезе не сложилась. Казалось бы, сиди на месте от девяти утра до шести вечера, делай свое дело, впитывай духовную атмосферу и радуйся, что тебя не услали преподавать русский язык далеко от Москвы. Но мне было только двадцать три года, я писала стихи, переводила поэзию с чешского и меч-

тала о свободном расписании вольного литератора и более живой деятельности. Ну, и, естественно, когда подвернулись работы преподавателя-почасовика за рубль в час сначала на курсах иностранных языков при Министерстве внешней торговли, потом – в МГУ, я, ничтоже сумняшеся, покинула «скучную» иностранку и с радостным трепетом в душе влилась в поток бесправных и малоимущих, так называемых, почасовиков.

Проработав в подвешенном статусе преподавателя-почасовика несколько лет, я вернулась с небес на землю, осознав, что ничего более стабильного мне по работе не светит в системе советского высшего образования, и прославленным поэтом-переводчиком я вряд ли скоро стану, а приносить доход в семью надо (у меня к тому времени уже был полубезработный муж и намечался ребенок), и подала документы на ПМЖ в Израиль, в тайне от ОВИРА, планируя свернуть по дороге в США. Где-то через год мы получили визу. В отказе не сидели. Слава Богу, советской власти наша семья не очень-то была нужна.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В БРУКЛИНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Пройдя трехмесячную эмиграционную проверку в Вене и Италии, которая, несмотря на зыбкий статус беженца, уродливую бедность и некоторые неудобства проживания, обернулась романтическими римскими каникулами, наша семья в количестве четырех человек (я, муж, полуторагодовалый сынишка, свекровь и ее собачка) получили визу в США. 18 августа 1979-го года беспосадочным чартерным рейсом мы прилетели из Рима в Нью-Йорк.

Стояло жаркое лето. Нас разместили в центре Бруклина, в огромном, давно нуждающемся в ремонте, отеле Сент-Джордж. С потолка сыпалась штукатурка, туалет спускал воду, как придется, сеток на окнах не было, и в комнату проникали мухи, комары, пчелы и прочие мелкие назойливые летающие твари. Кондиционер отсутствовал, вентилятор тоже. И все же дух нашей семьи, помноженный на оптимизм молодых надежд, (вечно недовольная свекровь не в счет) был крепок.

Очень скоро нам удалось поселиться в доме для людей с низким доходом в отдаленном районе Бруклина – Канарси. Это был настоящий рай для малоимущих. Уютная двуспальная квартирка выходила окнами на залив Джамайка-Бей, в котором мы, несмотря на строгий запрет «купаться запрещено!», все же купались, ибо тогда еще у нас не было машины, чтобы добраться до знаменитых пляжей Манхэттен-Бич, Брайтон-Бич и Кони-Айленд. Во дворах между домами росли деревья, которые цвели ранней весной первоцветно-волшебными нежно-розовыми и белыми цветами. В каждом дворике была детская площадка.

Сын подрастал, муж (по специальности врач «Скорой помощи») огорчительно быстро менял разные места работы: от санитара, до грузчика и впоследствии – водителя такси (car service). Я упрямо рассылала письма и резюме по университетам и колледжам Америки, в надежде устроиться на работу преподавателем русского языка и литературы. В конце концов, осознав всю безнадежность сей затеи (все теплые места были прочно заняты представителями второй эмиграции, которые отнюдь не собирались на пенсию), я откликнулась на объявление о вакантной должности клерка в Бруклинской публичной библиотеке.

Перед интервью я то ли простудилась, то ли заболела гриппом. Поднялась температура, одолевали насморк и кашель со всеми неприглядными внешними признаками от головной боли до опухшего лица, которое нужно было представить для интервью в приличном и даже привлекательном виде. Я нафаршировалась всевозможными таблетками и намазалась мазями, припудрила лицо, водрузила на нос дымчатые очки, чтобы прикрыть опухшие глаза, и решительно поехала сабвеем в центральное здание Бруклинской публичной библиотеки.

Несмотря на мой все же болезненный вид, безупречный английский язык с британским акцентом (которому нас учили в Союзе) и диплом МГУ произвели хорошее впечатление на кадровичку, и меня приняли на работу. Зарплату положили крохотную, аж восемь тысяч долларов в год, зато со всеми льготами (больнич-

ными днями, отпуском, праздниками) и медицинской страховкой для семьи. Я была бесконечно, неописуемо счастлива. Особенно, когда узнала, что мне предстоит работать в районной библиотеке «Джамайка-Бей» – через дорогу от дома. Следовательно, я смогу не так рано вставать, экономить на транспорте и бегать домой на ланч. Итак, судьба моя была решена.

Поручив ребенка, которому уже исполнилось к тому времени три года, соседке Раечке, добрейшей шестидесяти с хвостиком даме из Одессы, я отправилась на работу в библиотеку. Моя непосредственная начальница, старший клерк – красивая моложавая, модно и ярко одетая, дама по имени Роуз (сокращение от экзотического имени Розамунда) приветствовала меня по-американски широкой улыбкой «чи-из» и позвала в офис для дополнительной беседы. Первый вопрос Роуз поверг меня в состояние недоумения и слегка повеселил:

– Я слышу, что вы хорошо говорите по-английски, но умеете ли вы читать и писать на нашем языке?

– Умею! – ответила я со всей серьезностью, едва скрывая улыбку. – Я вполне свободно читаю и пишу на вашем языке, в том числе, и на других иностранных языках: например, немецком, чешском, польском. Да, еще владею латынью и старославянским. У меня степень Магистра славянской филологии. Я предъявляла свой диплом в отделе кадров (human resources).

– Да, но в таком случае, у вас слишком высокая квалификация для нашей простой работы. Вам бы устроиться преподавателем в колледж или, на худой конец, учителем в среднюю школу, – резонно заметила Роуз, и ее нарисованные тонкие брови подпрыгнули к серебристой челке.

– Ну, может быть, потом, когда-нибудь я и устроюсь работать преподавателем в колледже, а пока что меня работа клерка вполне устраивает. Я люблю иметь дело с людьми и книгами. И именно такая работа войдет в мои прямые обязанности, не так ли?

Подобный ответ успокоил и вполне удовлетворил Роуз. Она опустила брови, кивнула головой, произнесла итоговое «ОК!» и

указала мне на мое рабочее место за одним из письменных столов в комнате для сотрудников.

В состав работников библиотеки входили еще два клерка (громкие, несколько экзальтированные дамы средних лет: София и Мэрилин), а также заведующая библиотекой Мэри (которая была в то время в отпуске), ее заместительница – старший библиотекарь Салли, «взрослый» библиотекарь Анна (украинка из второй эмиграции) и детский библиотекарь Майкл. Прикреплены к филиалу «Джамайка-Бей» были также уборщик, двухметровый молодой парень Скотт (который говорил басом, соответствующим его габаритам), и охранник, имя и облик которого за давностью лет стерлись из моей памяти. В общем, это был весьма расширенный штат для такой с виду маленькой библиотеки. «Они здесь, наверное, не перетруждаются», – с надеждой подумала я. (Я ошиблась, так как даже не представляла, сколько может быть дел, обязанностей и разновидностей работ, необходимых для нормального функционирования такой вот американской районной библиотечки.)

Все сотрудники прониклись сочувствием к моему статусу новой иммигрантки и отнеслись ко мне с пониманием и сопереживанием.

* * *

– Вот пишущая машинка! – Сказала Роуз. – Вы умеете печатать?

– На скорость печатать я не смогу, но медленно умею... без проблем.

– Это хорошо. На скорость нам не надо. Главное, чтобы без ошибок. Молодой человек, который работал на вашем месте, пытался тыкать по клавишам пишущей машинки карандашом. Как Вы догадываетесь, он не выдержал испытательного срока и был уволен, – многозначительно сказала Роуз мне в назидание, чтобы я осознала всю ответственность первых шести месяцев испытательного срока.

– Ну, я постараюсь справиться. Во всяком случае, варварски стучать карандашом по клавиатуре пишущей машинки не буду, – отшутилась я.

Потом был ланч, и я полетела домой что-нибудь перекусить и проверить, как там Раечка управляется с моим непоседой-сынишкой.

Библиотека открылась в час дня. Роуз сразу поставила меня на выдачу, наскоро показав, что надо делать. А делать нужно было следующее. Читатели подходили с горой книг, которые хотели взять на дом. Книги подразделялись на три категории: взрослые, детские и взрослые с оплатой по десять центов в день – из дополнительной платной коллекции. Каждой категории книг соответствовала карточка особого цвета с датой возврата материала. Нужно было правой рукой очень быстро взять у посетителя библиотеки читательский билет, положить его перед фотоустройством, затем последовательно открыть каждую книгу на последней странице, вынуть из кармана книги белую карточку с названием и автором, положить лесенкой поверх читательского билета, чуть ниже, потом добавить ступенькой еще ниже карточку определенного цвета с датой возврата книги и, ударив ладонью левой руки по рычагу фотоустройства, запечатлеть всю эту трехэтажную транзакцию на фотопленке. То же самое нужно было проделать с каждой книгой каждого читателя. Стоял 1980-й год. Компьютеры в американских библиотеках только зарождались. Бруклинская публичка была в этом смысле одной из отстающих в стране. Квинсовская библиотека, с которой мы вечно соревновались, уверенно лидировала в сфере компьютеризации и автоматизации.

Роуз поставила меня на выдачу книг на целых два часа, хотя норма, как я потом выяснила, была полтора часа. По-видимому, ей хотелось проверить меня на сообразительность и физическую и моральную прочность. К концу второго часа я уже слабо соображала, какую карточку куда надо было класть, и, словно робот, стучала левой рукой по рычагу фотоустройства. Голова гудела,

левая ладонь дико разболелась и опухла с непривычки от постоянных ударов о рычаг.

У финиша своей «вахты» я только молила Бога, чтобы не грохнуть в обморок. Но судьба была ко мне в последнее время милостива. В обморок я не упала, с достойным видом и внутренней дрожью, известной только мне одной, закончила выдачу книг и влетела отдышаться и перекусить в комнату отдыха, которая также служила столовой. Здесь все было приспособлено для удобства сотрудников: стол со стульями, диван, электрическая плита, тостер, кухонные шкафчики с посудой и холодильник. Условия для работы членов профсоюза (а ими были все сотрудники библиотеки, кроме меня, клерка на испытательном сроке) были четко оговорены в рабочем контракте.

В столовой сидел Майкл, листал журнал «Плейбой» и жевал яблоко. Увидев меня, он попытался прикрыть красочно-эротическую страничку журнала салфеткой. Но я все же заметила эту его попытку и понимающе улыбнулась, мол, не выдам. Что же, детскому библиотекарю нельзя почитать литературу для взрослых!

– Ну, как прошло боевое крещение? Вы очень устали? – сочувственно спросил Майкл.

– Если честно, да. Ну, ничего. Это только начало. Я справлюсь.

Майкл был чрезвычайно добрым, немного странным, неженатым парнем лет тридцати. Я так и не разгадала, к какой он принадлежал ориентации. Он стал детским библиотекарем по призванию, так как любил ребятню и во время программ для самых маленьких и школьников увлеченно рассказывал своим юным клиентам всякие байки и сказки и даже фокусы показывал. Дети его обожали. Сотрудники относились к нему несколько снисходительно, как к большому ребенку. Впоследствии мы подружились. Майкл оценил мое трудолюбие и целеустремленность и однажды изрек:

– Думаю, что через лет этак пять-шесть ты будешь работать моим супервайзером.

Я тогда только посмеялась над столь химерической перспективой.

После брейка Роуз поручила мне оформлять периодику. Это было довольно интересное занятие, так как через мои руки проходили все журналы и газеты, которые выписывала наша библиотека. Можно было украдкой просмотреть какой-нибудь журнал, например, *Vogue* или *Ladies' Home Journal* и пробежать глазами приглянувшуюся статейку, например, о том, как правильно жить, чтобы быть счастливой, вкусно и полезно готовить, как воспитывать ребенка, а заодно и нерадивого мужа, словом, любую статью на тему *how-to*. Все это было мне, бывшей советской женщине, в диковинку, и я кайфовала над периодикой.

Но мое блаженство продолжалось недолго. Ровно в три часа дня в библиотеку буквально вломилась толпа школьников и родителей с детьми разного возраста. Вся эта пестрая, многоголовая толпа гудела, галдела и чувствовала себя в стенах библиотеки весьма вольготно. Ну, хоть святых выноси! Я, привычная к советским библиотекам, в которых было слышно, как муха пролетит, пришла в сильное недоумение, и, можно сказать, в состояние культурного шока. Мой беспомощный взор упал на охранника, который почему-то спокойно стоял у входа и ничего не предпринимал, чтобы погасить эту «взрывоопасную волну демократии и свободы» без берегов. Только, когда кто-нибудь из расшалившихся детей громко ругался ненормативом или швырял в другого ребенка книжкой, охранник подходил к нарушителю покоя и строгим голосом приказывал ему выйти вон подышать свежим воздухом и не возвращаться до завтрашнего дня. (Для того, чтобы запретить проблемному ребенку посещать библиотеку на более долгий срок, требовалось специальное решение библиотечного Отдела охраны и безопасности.)

Так прошел мой первый трудовой день в американской районной библиотеке. Впоследствии я постепенно привыкла к различиям между советской и американской системой публичных библиотек и очень скоро то, что в первые дни меня повергло в состояние недоумения, возмущения или восторга, начала воспринимать как само собой разумеющиеся особенности, факты, нюансы.

С читателями у меня сложились отношения самые корректные. Большинство посетителей библиотеки восприняли меня просто как одну из сотрудниц, не выделяя никак и ничем. Некоторые же, весьма любознательные, услышав мой легкий акцент, сразу спрашивали:

– Откуда вы приехали?

– Из России, город Москва, – отвечала я не без гордости.

– Ой! Там, наверное, очень холодно! – восклицали они, поднимая глаза к потолку.

– О да! – восклицала я в ответ. Не хотелось их ни в чем разубеждать. Да и зачем?

* * *

– Сегодня мы займемся оформлением списанных книг, – сказала Роуз, – вводя меня в курс дальнейших обязанностей клерка. Она подвела меня к двум библиотечным тележкам, до отказа нагруженным книгами, которые необходимо было списать. Книги выглядели, с моей точки зрения, прекрасно: нестарые (всего лишь годичной давности) нерваные, немятые. Любитель Книги с большой буквы, прочно сидевший во мне с детства, конечно, не выдержал такой «откровенной бесхозяйственности и разгильдяйства» и подал тихий, но возмущенный голос:

– Хорошие книги, Роуз. Можно узнать, зачем их надо списывать?

– Дело в том, что эти книги уже прошли пик своей популярности и циркуляции. Теперь они будут стоять на полках мертвым грузом. Библиотека не резиновая. К тому же, мы каждый день получаем новые поступления. Книгохранилища у нас нет. Поэтому все, что устарело и плохо циркулируется, мы сначала списываем, потом или выбрасываем на помойку или продаем нашим читателям по низкой цене: двадцать пять центов за книгу в мягкой обложке, пятьдесят центов – за книгу в твердой.

– Книги – на помойку! – Из меня вырвался естественный возглас негодования. – Опомнившись, я уже более спокойно доба-

вила. – Жаль, что вы не отправляете списанные книги в другие страны, например, в Советский Союз. В Союзе настоящий книжный дефицит и даже голод, – внесла я деловое предложение. Роуз засмеялась и игриво посоветовала мне послать об этом меморандум директору Бруклинской библиотеки. Осознав всю абсурдность моего предложения, я тоже рассмеялась.

Прошло две недели. Мэри, заведующая библиотекой, вернулась из отпуска. Мэрилин говорила, что Мэри – святая. Не знаю, как насчет святости и непогрешимости, но могу сказать, что наша заведующая была чрезвычайно добрым, отзывчивым и дальновидным человеком. Увидев мои старания, а, также оценив университетское образование, она сразу решила мне помочь. Мэри обратилась в отдел кадров и выхлопотала для меня должность помощника библиотекаря (*librarian-trainee*) при условии поступления в Высшую библиотечную школу. Так что работать клерком мне пришлось каких-то полгода. Потом я поступила в Пратт-Институт на программу для получения степени магистра по информатике и библиотечному делу (*Master's Degree in Library and Information Science*). Меня перевели в другую районную библиотеку и сразу повысили зарплату аж до тринадцати тысяч в год.

«С МЕСТА В КАРЬЕРЕ»

Моя новая библиотека «Канарси» уже была немного подальше от дома: пять минут на автобусе или двадцать минут пешком. Библиотекой заведовала чрезвычайно полная женщина средних лет с правильными чертами лица и громовым голосом. Звали ее Миз Лаура Розенблюм. Почему не Миссис и не Мисс – явилось для меня загадкой, которую тут же разрешила сама Лаура. Как только я, новоприбывшая иммигрантка, не разбиравшаяся в нюансах современного английского языка и тонкостях понятия «феминизм», попыталась назвать ее Миссис Розенблюм, она громко протестующе заявила:

– Я хоть и замужем за мистером Розенблюмом и ношу его фамилию, но принадлежу самой себе. Я – личность, и поэтому про-

шу называть меня исключительно Миз Розенблюм. (Со звонким «З».) Надеюсь, это вам понятно?

– Понятно. Извините, Миз Розенблюм, – проямлила я. Это больше не повторится. – На самом деле, мне было понятно только одно: начальницу надо слушаться, начальству перечить нельзя.

Пожалуй, этот маленький выговор был единственным, который я получила от Лауры за весь двухлетний период пребывания в библиотеке «Канарси». Лаура была, хоть и строгая женщина, но истинная демократка и либералка, как ни странно звучит это сочетание качеств ее характера и идейных убеждений. Она сочувствовала всем исторически «униженным и оскорбленным», а именно: новым иммигрантам, чернокожим, женщинам, детям и даже преступникам. Была категорически против смертной казни, подчеркивая, что только Бог имеет право забрать у человека жизнь, так как только Бог эту самую жизнь человеку дает. Зато неприятие смертной казни не мешало Лауре активно выступать за аборты, ведь запрет абортов нарушал права женщин. В общем, в характере Лауры и ее взглядах было, с моей, бывшей советской точки зрения, намешано много непонятного и противоречивого.

Мою непосредственную супервайзершу – старшего библиотекаря и заместительницу Лауры – звали Саманта. Ей в ту пору было лет сорок. Высокая, полная, с очень короткой стрижкой, вечно в широченных брюках, свободных блузах-размахайках и непременно при огромных висячих серьгах, она часто улыбалась и звонко-заразительно смеялась. Саманта как бы смягчала строгую и громогласную Лауру и вносила в рабочие будни веяние приятной непринужденности и радостного восприятия библиотеки и жизни вообще. Саманта учила меня библиотечному делу легко и, как бы походя, не слишком давила на мою зажатую иммигрантскую психику, принимая во внимание мои сложные семейные обстоятельства и учебу в институте.

У Саманты был муж (школьный учитель математики) и три хорошеньких дочери в возрасте от шестнадцати до семи лет. Она и семейную жизнь умела устроить как-то легко, не слишком бес-

покоясь о порядке в доме. Я, правда, у нее дома никогда не была, но смела предположить, что там преобладала атмосфера некоего хаоса. Достаточно было заглянуть в машину Саманты, где на полу валялись пустые баночки из-под дринок и всякие разные бумажки (квитанции от покупок и оберточные пакетики). Саманта часто любезно подвозила меня до дома, так как ей было по пути, и всякий раз приговаривала:

– Пожалуйста, не обращай внимания на мусор в машине! Не было времени убрать.

На что я ей успокоительно отвечала:

– Да что твоя машина! Ты бы посмотрела, сколько пыли у меня в квартире! Работа, учеба, домашние задания и ребенок. Когда мне убирать-то?

Мы с Самантой понимали друг друга, и я ей очень благодарна за то, что мой первый, самый напряженный, год работы помощником библиотекаря и одновременной учебы в Пратте прошел гладко, без эмоциональных срывов.

Чтобы удержаться на работе и выжить, я крутилась, как белка в колесе. Степень Магистра по информатике светила мне путеводной звездой. Я шла вперед, как лошадь с шорами на глазах, не глядя по сторонам, не видя всяческих соблазнов и красот жизни. У меня не было ни минуты свободного времени расслабиться, подумать, осмыслить свою жизнь, не говоря уж о том, чтобы писать стихи. (Я вернулась к творчеству только в конце 80-х годов.) Я не имела права просто сесть и почитать книгу не по программе, а из интереса к предмету, для души, для удовольствия. А коллекция художественной и научно-популярной литературы, включая биографии знаменитых людей, была всеобъемлюще заманчива и удивляла меня (выросшую в эпоху советских запретов на произведения инакомыслящих) полным отсутствием цензуры. На полках можно было найти «Капитал» и «Коммунистический манифест», биографии императрицы Екатерины Великой, Наполеона, императора Николая II, Ленина, Сталина, Троцкого, Мао Цзэдуна и Че Гевары, а также «Mein Kampf» Адольфа Гитлера. (В мою

бытность работы в «Иностранке» «Mein Kampf» и биографию Троцкого разрешалось почитать только по особому допуску – в спецхране.) Я подходила к стеллажам, брала в руки книги, вздыхала и думала: «Ничего, ничего! Еще несколько лет учебной круговерти, и я обрету безграничную читательскую свободу...»

Здесь хочу сделать некоторое отступление об исторически запрещенных книгах. В Бруклинской публичной библиотеке цензура распространялась разве что на порнографическую литературу, но далеко не так дело обстояло с некоторыми произведениями в других штатах и других библиотеках Америки. Запрещенными книгами (banned books) в отдельных школьных и публичных библиотеках в свое время считались, например, романы: «Над пропастью во ржи» Сэлинджера (за вульгарность, оккультизм, насилие и сексуальные сцены), «Прощай, оружие!» Хемингуэя (за сексуальность содержания), «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена (за расизм) и др. Интересно, что именно эти книги были переведены на русский язык и стали доступны широкому советскому читателю.

* * *

У меня не было времени не только почитать, но даже пообщаться с друзьями и написать лишнее письмо в Москву родителям, не говоря уж о том, чтобы сходить в кино или в музей. Денег свободных у меня тоже не было, ибо те крохи, которые я зарабатывала, полностью уходили на жизнь, включая квартирную ренту, питание, самые необходимые в быту вещи и бэбиситтеров для моего сынишки. (С мужем в то время я находилась в процессе развода, и он мне больше не помогал ни с ребенком, ни материально. Впрочем, какой с него, безработного, был спрос!)

В Пратге я брала два вводных курса: один легкий – экскурс в библиотековедение – и другой, очень трудный для меня курс, – о применении компьютеров в библиотечном деле. О компьютерах я в те годы не знала ровным счетом ничего. Первое время я сидела на лекциях, тупо уставившись на преподавателя, как отморожен-

ная, и думала только о том, что будет со мной, если я провалю этот курс. Но, к счастью, по ходу курса у меня в голове наступило просветление, да и преподаватель наш оказался чрезвычайно либеральным и всепонимающим. В итоге, я написала курсовую работу на отлично и такую же оценку получила за весь предмет. Окрыленная первой победой, я продолжала учебу, уже не страшась провалов в усвоении библиотечных наук и увольнения с работы.

Лаура обучала меня, как проводить визиты школьников (class visits), когда в библиотеку приходит целый класс во главе с учителем и группой родителей для поддержки безопасности и дисциплины. Иногда везло: выдрессированные дети (из католической школы или иешивы) входили молчаливыми парами в библиотеку, дружно усаживались в аудитории и почти без замечаний со стороны учителя и библиотекаря сидели смирно и слушали все, что я говорила. А говорила я о правилах пользования библиотекой, различных программах и впридачу рассказывала им содержание какой-либо интересной книги. А частенько случалось и так. Вламывались ребята (из городской школы – public school) совсем не дружной толпой, не обращая внимания ни на учителя, ни на библиотекаря, разбредались по залам библиотеки, хватали книги с полка, швыряли их на столы или на пол, и не было никакой возможности укротить эту неуправляемую орду. А учитель... Что учитель? Учителю ученики еще в школе поднадоели, и ему (или ей) хотелось пустить все на волю волн, расслабиться, отдохнуть и полистать глянцевого журналы.

Особенно тяжело было справляться с группами детей больных аутизмом. Их тоже приводили в библиотеку для всеобщего развития или, возможно, для галочки в перечне классных мероприятий. Эти больные дети были абсолютно не управляемы. Некоторые из них кричали и катались по полу. Иногда удавалось занять кое-кого из них книгой в яркой обложке.

А коллекция детских книг в библиотеке, надо сказать, была прекрасно подобрана: притягательна иллюстративно, разнообраз-

на по содержанию и возрастным категориям: от самых маленьких до учеников шестого класса. Советским детям такие книги могли разве что присниться. Я приносила домой «Зеленые яйца и ветчину», «Кота в шляпе» и другие запредельно фантастические осмысленные бессмыслицы знаменитого Доктора Сьюсса и читала перед сном моему сыну.

– Ну, что будем читать сегодня? – спрашивала я мальчика с надеждой, что он попросит какую-нибудь другую книжку

– «Зеленые яйца и ветчину», – упрямо повторял ребенок. И я читала снова и снова о зеленых яйцах, чувствуя, что постепенно зеленою сама.

* * *

Молодой библиотекарь итальянского происхождения, Эдди, тренировал меня, как показывать посетителям кино. Выбирали, как правило, старые классические фильмы типа «Лоренс Аравийский», кинокомедии с участием Лорела и Харди, Чарли Чаплина и другие. Для меня, замученной учебой, работой и домашними делами, когда времени в обрез и даже некогда посмотреть телевизор, показ фильмов в библиотеке был настоящим праздником и прорывом из плотной цепи однообразных звеньев моей новой жизни.

Однажды нас с Эдди послали на собрание в Центральную библиотеку. Вернее, послали Эдди, а заодно и меня, чтобы приучалась к посещению оных. А их, этих профессиональных сборищ было ой как много! Пожалуй, даже больше, чем в московской «Иностранке», на Курсах иностранных языков при Министерстве Внешней Торговли и в МГУ. Эдди было поручено прослушать лекцию о справочных материалах, просмотреть новые поступления и сделать рекомендации для пополнения нашей коллекции. Мы все проделали, как полагалось, и после полудня отправились к себе в «бранч» (филиал). По дороге Эдди предложил зайти в местный ресторанчик на ланч. Это было мое первое посещение хоть и маленького, но все же ресторана, в Америке. Эдди заказал

себе туна-сэндвич, а я попросила сэндвич из ветчины с сыром, помидорами, салатом и майонезом. Ответом официанта было абсолютное молчание. Он пришел в состояние ступора. И глаза моего итальянского спутника, ну разве что не выкатились из орбит.

– Ты что, спятила? – прошептал Эдди. – Это же кошерный ресторан. Они свинину не подают, тем более, с сыром!

– Так почему же ты мне ничего не сказал? Откуда мне знать, что этот ресторан кошерный? – прошипела я в ответ и густо покраснела.

– Я думал, что ты умеешь читать вывески...

Я, конечно, умела читать вывески, но мне даже в голову не могло прийти, что католик Эдди поведет меня в кошерный ресторан. Было так неловко и жутко стыдно перед Эдди и официантом. Но я ведь была новой иммигранткой из Страны Советов, а нашей новоиспеченной американской братии многое прощалось. В итоге, я тоже заказала туна-сэндвич, и инцидент был исчерпан.

* * *

Библиотека «Канарси» по контингенту читателей в то далекое время считалась вполне приличной. То есть, среди постоянных посетителей была устойчивая группа интеллигентных женщин среднего возраста и (небольшой группы мужчин) среднего достатка, которые следили за списком бестселлеров, заказывали популярные книги и даже если не находили то, что хотели в бесплатной коллекции, охотно брали на дом те же названия из платной.

Настоящим бичом, напастью и дурной славой района Канарси была находящаяся неподалеку от библиотеки High School (средняя школа с 9 по 12 класс). Старшеклассники заканчивали занятия где-то в 2-3 часа дня и огромной шквальной волной выплескивались из школы, где долго сдерживали страсти, порожденные гормональным брожением, и обрушивались на улицу Рокавей-Парквей, угрожая смести на своем пути, все, что мешало их продвижению в сторону сабвея. А путь их лежал мимо библиотеки. Как только первые великовозрастные школьники показывались

на улице, наш охранник, ветеран корейской войны, седоусый Мистер О'Брайан, напоминавший обликом старого гусара, нарушая все правила, благоразумно запирает библиотеку на замок изнутри (вместе со всеми находящимися там читателями). Так мы все сидели в осаде, переживая взрывоопасное время разгула страстей молодого поколения.

– О'Брайан! – Гремела на всю библиотеку Лаура. – Они уже прошли? Все спокойно?

– Прошли, прошли. Можно открывать двери.

И двери библиотеки снова распахивались, выпуская наружу невольного застрявших внутри читателей и впуская новых.

Саманта приобщила меня к прочитыванию (проглатыванию, просмотру) и обязательному запоминанию американской, английской и мировой классики. Мне это было делать приятно и отнюдь не трудно, так как многих авторов я прочитала еще в русском переводе в детстве, в юности и в МГУ. Американским школьникам задавали на дом прочитать что-либо из классики и написать о прочитанной книге доклад, по-английски – book report. В библиотеку приходили дети и подростки и спрашивали книги во временном диапазоне от Гомера до Сэлинджера. И надо было быстро найти нужную книгу на полке или принять заказ.

Саманта учила меня, прежде всего, как правильно проводить интервью с читателями, чтобы сначала понять, какая информация им нужна (частенько они и сами не знали, за чем конкретно пришли в библиотеку) а потом уж, в силу своих знаний, сообразительности и способностей, эту информацию читателям предоставить.

У меня есть рассказ из серии «нарочно не придумаешь» о разных курьезных историях, в которых я была прямой участницей, сидя за справочным столом – on the reference desk. Называется этот рассказ «А у нас в библиотеке». Вот небольшой отрывок из этого рассказа:

«Что-то сегодня совсем нет школьников?» – удивляюсь я про себя, искушая судьбу. Тут же ко мне подлетает парочка стар-

шекласников. Они держатся за руки и трутся друг о друга, как юные щенки. Девушка раскрывает рот:

– Ой, а мне нужна книжка.

– Какая? – вежливо спрашиваю я. – Название, автор.

– Ван Гог, «Ворон», – выпаливает девица одним духом.

– Что-что? – удивляюсь я. – Ты, милая, что-то путаешь.

Ван Гог – это голландский художник, а «Ворон» – стихотворение американского поэта Эдгара Аллана По.

– Вот-вот. Именно то самое. – С облегчением вздыхает девица. – Это мне и нужно.

– Что тебе нужно, милая? – устало уточняю я. – Книга о Ван Гоге или стихотворение Эдгара Аллана По «Ворон»?

Девица смотрит на меня пустыми глазами. Она и сама толком не знает, что и кто ей нужен: то ли Го, то ли По. Ну, тут я беру инициативу в свои руки. Мы идем к полкам искать томик Эдгара Аллана По со стихотворением «Ворон». Нам повезло: «Ворон» на месте, пока не улетел. Глаза девицы излучают безграничное доверие ко мне, библиотекарю, и невыразимое счастье, что проблема так быстро разрешилась. О, если бы все проблемы так просто решались! В нашем мире не было бы проблем.

RUSSIANS ARE COMING (РУССКИЕ ПРИХОДЯТ)

Из «Канарси» меня перевели еще дальше от дома – во «Флетландс». В эту библиотеку уже надо было добираться двумя автобусами. Если везло со стыковкой автобусов, дорога занимала полчаса. А если эту самую магическую временную стыковку пропустишь, приходилось ждать второго автобуса буквально до посинения зимой и до седьмого пота – в летнюю жару.

Я к тому времени уже набрала половину кредитов для получения степени Магистра библиотечного дела и информатики. Так уж получалось: чем ближе я подходила к заветной цели стать дипломированным библиотекарем, тем дальше от дома меня посылали работать. Можно было, конечно, отказаться от перевода и еще на пару лет застрять в «Канарси» – пока не окончу курса

обучения. Но в случае отказа администрация библиотеки, как говорили добрые люди, уж непременно бы наточила на меня зуб и впоследствии притормозила бы мою карьеру. Библиотекари в Америке, впрочем, как и всюду в мире, зарабатывали крайне мало, и единственный способ значительного прибавления к зарплате был связан с продвижением по служебной лестнице. Сначала стать просто библиотекарем, потом старшим (senior) библиотекарем, потом библиотекарем руководящим (supervising). Ну, а если очень повезет, то где-то ближе к пенсии – можно было дослужиться до звания главного (principal) библиотекаря. Такая вот у нас существовала иерархия. Спешу сразу заметить, что до главного библиотекаря я так и не дослужилась.

В конце семидесятых – в самом начале восьмидесятых годов (пока эту лавочку обмена людей на зерно не прикрыли) в Нью-Йорк хлынула мощная волна еврейских беженцев из бывшего СССР. Эти новые беженцы были совсем не похожи на тех бедняков, малообразованных, многодетных, говоривших на идише, которые приплывали на пароходах в Америку в конце 19 – начале 20 века. Среди иммигрантов третьей волны многие привезли с собой, кроме чемоданов, багаж среднего и высшего образования. Они, прежде всего, стремились освоить английский язык, приобрести подходящую профессию, которая бы их кормила, или подтвердить свою, привезенную отсюда специальность, сдачей экзамена на врача, медсестру, инженера, программиста... Растворения в котле американской культуры (melting pot) было для них все же недостаточно. Они хотели также сохранить свою культуру и читать на русском языке книги и периодику. Термин melting pot устаревал, он больше не отражал реальной иммигрантской жизни, постепенно превращаясь в термин salad bowl (миска с салатом).

В библиотеках «Канарси» и «Флетландс» в обязательном порядке имелись книги на иностранных языках: французском, испанском, итальянском, польском, русском и др. Их было ничтожно мало, но они все же присутствовали и обновлялись ежемесячно,

извлекаемые из закровов Бруклинской центральной библиотеки, и назывались громким словом «Коллекция книг на иностранных языках». Русских книг на полке было ничтожно мало, может, 10-15 штук. В основном, классика (Толстой, Достоевский, Чехов, Набоков, Пушкин). Помню, в библиотеке «Канарси» одиноко стояла кем-то подаренная, пухлая и увесистая, заботливо переплетенная, Библия. «Лолиту» Набокова охотно читали, так как еще в Союзе слышались об этом романе, сначала наделавшем скандал в обществе и литературных кругах, а потом возведенном в степень шедевра. Библию на дом не брали: не приучен был homo soveticus к божественной литературе.

Толстой, Достоевский, Чехов и Набоков имелись так же в английском переводе и входили в списки обязательной литературы для старшекласников – school assignment. Творения Пушкина не входили в обязательную школьную программу, но зато читатели о нем все же слыхали, так как имя великого русского поэта курьезным (для моего восприятия) образом было включено в справочную книгу «Great Negroes Past and Present» – «Великие негры прошлого и современности». Мне сие утверждение казалось бредовым, но, согласно Википедии, по правилу «одной капли крови», в штатах Флорида, Мэриленд и Миссури человек с 1/8 примесью негритянской крови, октарон, (а в федеральном округе Колумбия даже с 1/16) считался когда-то цветным. Итак, Александр Сергеевич Пушкин принадлежал к черной расе, но, как в известном анекдоте, мы его любим не за это.

Вернемся к теме русскоязычных иммигрантов третьей волны. Они приходили в библиотеку и просили русские книги, по которым изголодались в доперестроечной России: Солженицына, Довлатова, Цветаеву, Пастернака, Бродского, Елагина, Гроссмана, Аксенова и др.

Я к тому времени уже закончила Пратт-Институт и делала первые шаги своей библиотечной карьеры, получив должность полноправного библиотекаря. А это значит, что я приобрела голос в формировании коллекции районной библиотеки и имела право

посылать меморандумы в Центральный отдел комплектования, объясняя ситуацию, что появился большой спрос на русские книги, значит, необходимо этот спрос удовлетворить и таким образом увеличить циркуляцию материалов. А с ростом циркуляции (оборота) потенциально возрастет и библиотечный бюджет, который будут определять городские власти Нью-Йорка.

Кроме меня, в Бруклинской публичке появились другие русскоязычные библиотекари. Администрация библиотеки решила идти в ногу со временем и сформировала из нас комитет по закупке книг на русском языке. Раз в квартал мы собирались и отправлялись в Манхэттен (в начале 80-х – в магазин Камкина, позднее – в другие книжные магазины) для закупок русских книг. Проводили в магазине весь рабочий день, дотошно и бережно отбирая авторов и названия книг.

В постперестроечное время процесс закупок русских книг поменялся. Выбирали уже не по одной книжечке, а оптом и через посредников, все подряд, что предлагал книжный рынок России: классику, детективы, любовные и бульварные романы, страшилки, авантюрно-приключенческие романы типа догоняй-стреляй, переводную и научно-популярную литературу how-to. В настоящее время основным поставщиком русскоязычных материалов (книг и видеодисков) служит книжный магазин Санкт-Петербург, что на Брайтоне.

НОВЫЕ «БРАНЧИ» – НОВЫЕ ЛЮДИ

Продолжая продвигаться по служебной лестнице, я переходила из одной районной библиотеки в другую. Начальство говорило: «Хочешь повышение по службе, иди туда, куда мы тебя посылаем: а именно, в беспокойные районы негритянско-испанского гетто, типа «Бушвик» и «Ист Нью-Йорк». Я уже водила машину, битую-перебитую Шевроле «Малибу-Классик», и изъездила на этой машине Бруклин с севера на юг и с востока на запад. В Бушвике меня свела судьба с двумя, весьма колоритными личностями: Гаитянином Филиппом и чернокожей американкой Линдой.

У Филиппа была потрясающая биография, почти как у графа Монте-Кристо. После прихода к власти Папы Дока, Филипп, гаитянский аристократ, владелец плантаций, юрист по образованию, полковник береговой охраны, был приговорен к смертной казни. Ему удалось бежать из-под стражи сначала в Мексику, а потом эмигрировать в Америку. И здесь, в Нью-Йорке он получил дополнительное библиотечное образование и стал обычным заведующим библиотекой. Надо же было как-то зарабатывать на жизнь... Правда, впоследствии Филиппу удалось снова разбогатеть торговлей недвижимостью.

Линде в пору нашего знакомства и сорока не было. Высокая, шумная, полная, лицом похожая на Уитни Хьюстон, а телом на Куин Латифу, она была чрезвычайно активной, веселой, доброй и, даже щедрой, женщиной. Работы старшего клерка ей было мало. Линде нужна была дополнительная деятельность для привнесения разнообразия в рутину библиотечной жизни. Она прекрасно готовила и частенько устраивала за свой счет «parties» (вечеринки) для коллег, принося из дому не только продукты, но также посуду, столовые приборы и даже подсвечники. Чтобы все выглядело по первому классу!

В 1986 году у меня в Москве умерла мама. На похороны меня не пустили, хотя перестройка уже началась. В Советском посольстве, куда я позвонила, мне откровенно сказали: «Девушка, и не мечтайте пока ехать в Москву. Еще ничего не изменилось. Мы Вам можем только посочувствовать».

По случаю смерти мамы мне полагался четырехдневный отпуск. Я сидела дома, звонила папе в Москву и плакала вместе с ним. А когда вышла на работу, Линда протянула мне открытку с выражением сочувствия моему горю и вложенными в конверт деньгами – \$50.00. Я поблагодарила ее и спросила, зачем она дала мне деньги, ведь меня не пустили в Москву, и расходов на похороны у меня нет. «Есть, есть расходы. Ты ведь каждый день, наверное, звонишь в Россию. А это дорого стоит!». И действительно, тогдашние международные звонки

обходились мне в копеечку. Не то, что теперь: платишь пять долларов за телефонную карточку и можешь говорить более тысячи минут.

Клиентами библиотеки Бушвик, в основном, были дети из латинос и афро-американцев, так называемые, latchkey kids (дети, с ключами на шее). У этих детей был выбор: прийти после школы в пустую квартиру, так как родители были на работе, или провести время до возвращения родителей в библиотеке. Родители, да и сами дети, предпочитали библиотеку пустой квартире. Это молодое шумное племя влетало в библиотеку и гужевалось там около трех часов, до закрытия здания или до прихода домой родителей. То есть, библиотека играла роль бесплатного, очень удобного районного бэбиситтера. Юные читатели быстро делали (или совсем не делали) уроки и оставшееся время болтались из угла в угол в поисках приключений на свою и нашу голову. Чтобы их как-то занять и предотвратить непредсказуемые последствия безделья, мы каждый день устраивали всевозможные детские программы: показывали кино, учили детей рисованию, читали им книжки, развлекали настольными играми. По праздникам (на Рождество, День Святого Валентина, День отца, День матери, Хэллоуин и т.д.) мы готовили для детей особые, праздничные программы и даже концерты. На программы отпускались дополнительные средства. Город был к библиотекам щедр.

Проработала я в библиотеке «Бушвик» полтора года, в общем, без проблем. Если не считать один случай. Выхожу я как-то на улицу после рабочего дня, иду к своей машине и не узнаю ее. Вроде моя машина и вроде не совсем... Детишки наши местные порезвились: разукрасили мою любимую «Малибу-Классик» граффити сверху донизу. Да так густо разрисовали, стервецы, что даже сквозь ветровое стекло трудно было разглядеть дорогу. Сажусь я за руль, роняю слезы, очень медленно еду на мойку. Стекло отмыли, а вот весь остальной корпус машины пришлось перекрашивать. Обошлось это мне в копеечку, правда, страховка все же кое-что покрывала.

В БИБЛИОТЕКЕ У ЗАЛИВА

В 1991 году наша семья переехала на юго-запад Бруклина, поближе к океану и каналу, в «русский» микрорайон Sheepshead Bay (Шипсхед-Бей). Имя свое этот район получил по названию рыбы – sheepshead fish (рыба с овечьей головой), которую, по преданию, поймали в здешних водах. Мы купили хоть и не шикарную, но двухэтажную квартиру с тремя спальнями, скайлайтами и балконом, который выходил на тихий задний двор. По счастливой случайности, в библиотеке недалеко от нашего нового дома открылась вакансия заведующей. Проработав около десяти лет в должности заведующей в самых разных беспокойных районах Бруклина и набравшись руководящего опыта, я смогла претендовать на эту должность, которую, в конце концов, и получила.

Библиотека «Шипсхед-Бей» по площади была небольшой, но по циркуляции книг стояла в первой десятке районных библиотек Бруклина. Рядом была станция сабвея и пересечение линий автобусов. Еще до открытия библиотеки у дверей в любую погоду стояли посетители, которые стремились первыми протиснуться в здание: кто за бестселлером, кто для того, чтобы занять место у компьютера, кто просто по привычке начинать день с забега в библиотеку. (Наконец-то, наступила компьютерная эра и для бруклинской публички. В базу данных входил каталог материалов и информация о читателях.) Кроме компьютеров для сотрудников библиотеки, в детской комнате и читальном зале для взрослых также установили компьютеры для посетителей, которые могли свободно в течение получаса пользоваться Интернетом и другими программами. Первое время даже разрешалось бесплатно распечатать небольшое количество страниц. Впоследствии все же стали взимать плату по десять центов за страничку. Бумага и картриджи дорожали.

Бранч «Шипсхед-Бей» был средоточием контрастов. С одной стороны, центр общения читающей, благополучной публики среднего класса, с другой – прибежище для бездомных алкоголиков и наркоманов. Бездомные завсегда и приходили, как

правило, парами. Неопределенно-среднего возраста, грязные, краснорожие от алкоголя, ветра и солнца, клочковато-бородатые, издающие дурной запах, они сидели в глубине библиотеки за столом среди стеллажей и дремали, изредка пробуждаясь и, оглядываясь по сторонам, выпивали явно что-то покрепче кока-колы. В жару спасались под журчащей прохладой нашего кондиционера, в холод и дождь – согревали свои продрогшие, битые судьбой тела и лечили израненные души. С одной стороны, жаль было их по-человечески, с другой, – противно находиться рядом. Но выгнать их я не могла, ибо бездомные тоже имели права находиться под крышей общественного заведения. В одной из публичных библиотек штата Нью-Джерси администрация все же выгнала такого бедолагу-бомжа на улицу. Так тот подал на библиотеку в суд и выиграл дело. Истинная демократия восторжествовала. Об этой истории писали во всех газетах, говорили по радио и телевидению; таким образом, нам, библиотечным работникам, был преподнесен урок осторожного обращения с бездомными.

Шипсхед-Бей становился все более «русским районом», меньшим братом района Брайтон-Бич. Мы закупали много русских книг. Наша «Русская коллекция» разрасталась, наступая на пятки и даже частично выталкивая англоязычную коллекцию. Что делать? Ведь количество стеллажей не прибавлялось. Да и по закону математики, если в сумме одно из слагаемых увеличивается, другое должно уменьшиться, уступить место первому. Некоторые американцы сначала открыто возмущались такому наступлению «русских», потом привыкли. Тем более, что система книжных заказов действовала безотказно. Через библиотечный обмен можно было получить любую книгу не только из центральной бруклинской библиотеки и ее филиалов, но также из любой публичной или университетской библиотеки штата Нью-Йорк: при одном лишь условии, чтобы эта книга реально была в наличии. Система заказов успокаивала недовольных. Страсти утихали.

Я пришла в библиотеку Шипсхед-Бей полная энергии и новых идей, как улучшить и разнообразить сервис. Казалось, воз-

возможности сами шли ко мне в руки. Одной из наших читательниц была Фрида Г., вдова, интеллигентная пожилая дама-пенсионерка, бывшая глава нашего библиотечного региона. Фрида много читала, иногда ходила в кино и на концерты в залы бруклинских колледжей. В Манхэттен она уже не выезжала. Крутые, многоступенчатые лестницы сабвея были не для ее артритных коленей. Физических сил у Фриды оставалось не так уж много, но духовная энергия все еще бурлила в ее худеньком теле и, не взирая на преклонный возраст, по-прежнему светлой и энциклопедически образованной голове. Фрида скучала, ей нужна была дополнительная деятельность. Я предложила ей организовать и возглавить локальный клуб читателей для обсуждения произведений лучших (на ее вкус), современных американских авторов. Фрида сразу же согласилась, рьяно взялась за дело, и наш читательский клуб быстро приобрел популярность. Прошло почти пятнадцать лет. Клуб существует до сих пор, а Фриде, по моим подсчетам, скоро исполнится 90 лет. Она стала еще тоньше, высохла, сгорбилась, но ум ее по-прежнему светел, ни намека на склероз и болезнь Альцгеймера.

Постоянным посетителем нашего «бранча» был странный, женообразный мужчина лет сорока пяти, небольшого роста, круглый, как сдобная булочка, с длинными, до плеч, полуседыми волосами и темными, чуть раскосыми глазами. Он сидел тихо в стороне, среди книг по искусству, и кропотливо, часами копировал работы известных художников-портретистов. Мы разговорились, его звали Том. По происхождению Том был наполовину Native American (индеец, потомок племени Майя). Он рассказал мне свою печальную историю. Был он прежде довольно успешным художником, но так случилось, что оказался на грани жизни и смерти, чудом выжил и вот, в благодарность Богу или судьбе за подаренную «вторую» жизнь хотел бы теперь принести какую-то пользу библиотеке и людям. Предложил себя в качестве волонтера-учителя рисования. В библиотеке каждый день собиралась группа, так называемых, детей с ключами на шее. Их надо было

обуздать и чем-то занять. Я согласилась на предложение Тома. Так образовалась наша студия рисования и живописи, которая открыла среди болтающихся без дела юных нечитателей немало талантов.

БРУКЛИНСКИЙ КЛУБ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Конец 90-х – начало 2000-х годов явились расцветом Бруклинской публичной библиотеки. Время рецессии еще не наступило и даже не маячило на горизонте. Штатные, городские и частные фонды, а также особые гранты на коллекцию, капитальный ремонт, технологию и программы отпускались щедрой рукой. Центральное здание и филиалы ремонтировались, перестраивались, приобретая модерново-отполированную внешность. Начался настоящий бум программ, в том числе, русских. Приезжали и собирали полные залы заокеанские и местные знаменитости: Евгений Евтушенко, Татьяна Толстая, Дина Рубина, Людмила Улицкая, Александр Межиров, Наум Коржавин, Александр Генис и другие.

Талантливые, но незначительные писатели русского зарубежья в Центральную библиотеку не приглашались, и невозможно было взять эту неприступную крепость, протаранить толстую стену снобизма. Местные авторы выступали в книжных магазинах, еврейских центрах и частных домах. Энергия моя в то время еще была на взлете, и мне захотелось помочь собратьям по перу, расширить площадку их выступлений в Бруклине. В 2002 году я организовала Бруклинский клуб русской поэзии.

Наш клуб существует уже десять лет. Мы встречаемся в небольшом, но красиво оформленном и уютном зале (примерно раз в месяц) в районной библиотеке Kings Bay. Заручившись поддержкой сотрудников этой районной библиотеки, мы провели около ста литературно-музыкальных встреч. И зал был почти всегда полон. Среди выступавших у нас поэтов хочу отметить, прежде всего, таких талантливых литераторов (из Нью-Йорка, других штатов и стран), как Ирина Акс, Лиана Алавердова, Рита Бальмина, Михаил Бриф, Александр Габриэль, Марина Гарбер,

Александр Долинов, Ольга Збарская, Вера Зубарева, Леонид Израэлит, Наталья Крофтс, Наталья Лайдинен, Игорь Михалевич-Каплан, Григорий Марговский, Наталья Резник, Михаил Рабинович, Георгий Садхин, Рудольф Фурман, Татьяна Щеголева и др. Частый гость в нашем клубе – известный Нью-Йоркский бард Василий Кольченко. Иногда дает концерты неповторимый драматизмом исполнения Борис Аронсон. Выступал у нас при полном аншлаге знаменитый трубач-джазмен Валерий Пономарев.

Устраиваем мы и встречи с прозаиками, авторами коротких рассказов. В программе «Женская проза – женская судьба» успешно выступили Нина Большакова, Галина Пичура, Татьяна Янковская, Анна Агнич, Елена Грачева и я, ваша покорная слуга. На вечере веселых рассказов зрители отметили особым вниманием и улыбкой тонкого юмориста – Михаила Рабиновича.

В меню нашего клуба входят также встречи с редакциями и авторами поэтических сборников и толстых журналов. Мы неоднократно устраивали презентации таких широко известных изданий, как «Побережье» (главный редактор и издатель – Игорь Михалевич-Каплан), «Слово/Word» (главный редактор – Лариса Шенкер), «Гостиная» (главный редактор – Вера Зубарева), «Стороны света» (главный редактор – Ирина Машинская), «Алеф» (главный редактор – Лариса Токарь). Не обходим мы вниманием и поэтические ежегодники-альманахи, такие как «Неразведенные мосты» (совместный Петербургско-Нью-Йоркский проект, составители Ирина Акс и Рудольф Фурман), «Связь времен» (издатель и редактор Раиса Резник), «Нам не дано предугадать» (издатель и редактор Марк Черняховский), «Общая тетрадь» (составитель и редактор Михаил Ромм). Может, я кого-то или что-то упустила, не назвала, но искренне стремилась упомянуть, как можно больше имен авторов и названий периодических изданий, которых привечал и привечает наш Бруклинский клуб русской поэзии.

Бруклинский клуб русской поэзии тесно сотрудничает с Объединением русских литераторов Америки – ОРЛИТА (orlita.org, президент – Вера Зубарева, арт-директор сайта – Вадим Зубарев).

Благодаря энергии и профессионализму Вадима и Веры Зубаревых, стали возможны видеотрансляции наших программ в живом эфире. Наши литературные встречи смотрят в США, Израиле, России, Украине, Германии, других европейских странах и даже в Австралии.

Идет 2013 год. В нашей стране экономический кризис. Почти прекратился поток новых эмигрантов, говорящих по-русски. Бюджет Бруклинской публичной библиотеки, да и других городских учреждений, значительно урезан. Поступление новых материалов на русском языке свелось к минимуму. Но наш Бруклинский клуб русской поэзии не зависит от бюджета. Все программы мы проводим бесплатно. Поэты, прозаики и барды выступают перед публикой на чистом энтузиазме из любви к русскому языку и литературе.

Подрастает новое поколение детей и внуков из иммигрантских семей. Дети и молодежь в основном плохо говорят по-русски (или совсем не владеют русским языком) и не интересуются ни американской, ни русской литературой. Читают русских классиков разве что по школьной программе и в переводе на английский язык. Все это, конечно, печально. Но, тем не менее, мы – писатели и читатели русского зарубежья пока еще держимся... Надеемся продержаться подольше и, может быть, то лучшее, что мы создали, останется для потомков.

КАМО ГРЯДЕШИ, МОЯ БИБЛИОТЕКА?

Прошло тридцать два года с тех пор, как я начала работать клерком в Бруклинской публичной библиотеке. За это время здесь произошло столько значительных, можно сказать, кардинальных перемен, что мой небольшой очерк (воспоминания) не в силах их все охватить, перечислить, осмыслить. Да я и не ставила перед собой столь объемной задачи. Начну с того, что изменилось само понятие и значение слова «библиотека». Согласно Википедии, «библиотека – это собрание книг, произведений печати и письменности, а также помещение, где они хранятся». Книг, произве-

Старые фотографии

дений печати и письменности становится все меньше. Их частично заменили сначала аудиокассеты и аудиодиски (books on tapes and CD's), потом видеокассеты и DVD's. А теперь все больше книг можно прочитать в электронном виде. Сидя у себя дома, открываешь свой аккаунт, скачиваешь на киндел электронную книгу и пользуешься ей три недели, после чего ты ее как бы сдаешь, то есть она исчезает, испаряется. Я, честно говоря, пока предпочитаю книги в старом добром печатном виде: свечение экрана утомляет зрение. И вообще, хорошую книгу приятно подержать в руках. Но не исключено, что в скором времени мое пристрастие к печатному формату изменится. Все же надо идти в ногу с эпохой.

В библиотеке уже нет прилавков, и не стоят клерки на выдаче. Машины заменили людей. С машинами проще иметь дело. Они не раздражаются, не устают, не ошибаются, правда, иногда все же выходят из строя. За справочным столом все еще сидят библиотечные работники, выдают читательские билеты и, не отводя взгляда от компьютеров, отвечают на вопросы посетителей. Старшее поколение уходит на пенсию. Освободившиеся рабочие места никто не занимает. Штат сотрудников заметно сокращается.

Библиотека будущего видится нашей администрации мало-книжной или вообще бескнижной (bookless) и почти безлюдной. Сплошные компьютеры и машины для выдачи и возврата материалов. Ну, и, конечно, несколько человек из обслуживающего персонала. Посетителей тоже будет значительно меньше. Зачем идти в библиотеку, когда можно всю информацию получить дома? От привычного понятия слова «библиотека» останется разве что помещение и название. Не знаю, как вам, а мне становится немного грустно от такой современной перспективы. Я закрываю глаза, впадаю в ностальгический настрой и вижу себя тридцать два года назад на выдаче книг: с молодой силой бью левой рукой по фотоустройству и катастрофически путаю все библиотечные карточки...

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

ПЕРВАЯ ФОТОГРАФИЯ

*Мамочка, это мы все в Новый 1953 год в квартире у Риты.
Рита, Марк Вороно, я, Валя, Коля, Володя Корбаков, акушерка Лена
стоят: Сережа Викулов, Митя Суровцев, Мишка Волгин,
Паша Щепелкин*

Евгешу с Яичкой приглашали, но она не пришла

Коричневое. Сепия. Тьма.

Зернистая грубая бумага.

Или тонкая, ломкая, будто забытое в шкафу печенье.

Или гладкая, глянец блестит под пыльной лампой.

Темные пятна с испода, там, где надпись.

Уголок загнут. Вот-вот отвалится.

По ободу – резная белая рамка, белые мятые старые кружева.
Бойся посмотреть в центр. Что увидишь в сердцевине коричневой тьмы? Лица?

Да, лица. Выступают из разводов сепии, сажи, тумана и мрака, схлеста теней и белых пятен.

Пятна светятся. Свечение над головами.

Миг – и сработал затвор фотоаппарата.

Чем снимали? «Зенитом»? «ФЭДом»?

Неважно. Сняли.

«Замерли все, ребята! Сейчас вылетит птичка!»

«Сделайте так губами: урю-у-у-ук!»

«Нет! Какой урюк! Ты спятил! Лучше: куряга-а-а-а!»

«Хорош болтать! Забри!»

Разводы и потеки коричневой тьмы, нежной сепии; морозные узоры по карему отпечатку, метель времени – бумага выцвела, и

сквозь тьму просвечивает белый вечный снег. Вечная зима. Где все эти люди? Давно в могиле. Под землей, и снег наметает на могилах сугробы, увеличивая посмертный горб в размерах.

Поднеси коричневый маленький квадрат ближе к лицу. Вот так. Еще ближе. Ты различаешь глазами время? Ты различаешь его душой? Сердцем слушай его. Оно не обманет тебя. Эти люди не обманут тебя. Они скажут тебе всю правду. Только правду.

Правду о себе и о времени.

Не бойся.

Сделай этот шаг.

Ведь это же так просто.

Просто приложить квадрат старой фотобумаги к лицу. Просто – вдохнуть. Пахнет клеем и шкафным нафталином. Просто зажмуриться. Просто шагнуть. А может, влететь. А может, протянуть к родному лицу лицо и руки, и потянуться, и тихо дотянуться – через коричнево клубящееся пространство: ведь это же стоит твоя мама, вот она, ты можешь войти в эту комнату, где празднуют Новый год, ты можешь войти, войди, переступи, успеи, вернись, не бойся, ты уже вошла.

Тебя не видят. Ты хочешь крикнуть: «Мама!» - но она тебя не знает, это еще не твоя мать. Это просто красивая черноволосая женщина: гладкая прическа, круглый черный шар пучка на затылке, над смуглой высокой шеей. Перед ней на столе, на белой, уже заляпанной едой и вином скатерти, большая хрустальная рюмка: наполовину полна или наполовину отпита? Жизнь только началась. Румяная, смуглая молодая чернушка только вернулась в Вологду из Бурят-Монголии. Там она работала врачом в детском костно-туберкулезном санатории. Сколько горя повидала! Детишки на койках лежат, у кого бедро гниет, у кого щиколотка. Куриные косточки. Цыплячьи грудки. Нина прибежала, цок-цок каблучками, из палаты в докторскую каморку и вминала в лицо надушенный кружевной носовой платочек. Платок кружевами мама обшила. И белье кружевное Ниночке в чемоданчик сложи-

ла, и куличи – побаловать - в дорогу испекла, хоть вовсе не Пасха на дворе была, и куличи – от греха - в духовке все примялись, не вспухли, не взошли.

«Деточка, ты за чемоданчиком следи, сопрут!»

Она следила, а когда засыпала на верхней полке, подружка на чемодан старательно глаза таращила. Высоко лежал чемоданище, на третьей полке багажной, но ведь воры ловкие, они все равно залезут. Подруженька. Врачица молоденькая. Лелька Митекина. Беленькая французская булочка. Кто тебя съест, Лелька? Когда?

В Ниночку влюбился бурят, главный врач. Угощал ее красной икрой из огромной миски. Втыкал столовую ложку в красную горку и грозно рокотал: «Ешь!»

А то водки полстакана нальет, омуля разрезанного на газете поднесет: «Не нравится наше угощенье?!» Вращал узкими глазами, скалился, пугал. В кабинет никто не входил. Но ни разу, ни разу он к ней руку... не протянул... и руки его... дрожали... когда закуривал, и курил долго, у форточки стоял, молчал, тьма молчанья сгущалась, и Нина пятилась к двери, уходила, выскальзывала рыбкой в черную дверную щель.

А какие там кедры... Господи... кедры...

А когда Нина уехала, Лелька письмо прислала. «Нинка! Я теперь любовница главного. Холугжанов меня на руках носит. Я ему на операциях ассистирую. Он на шов глядит, потом на меня, и рычит, как волк: «Смажьте ебом!» Я ему – чем-чем, Гомбо Цырендоржиевич? Ну, йодом, понятно. Ржут все вокруг! Знаешь, Нинка, я хочу, чтобы он на мне женился! Но у него ведь жена, бурятка, и три бурятенка!»

Рюмки-ножи-вилки, их нестерпимый блеск. Маргарита наготовила еды будь здоров. Как у них в Куйбышеве говорят - на Маланьину свадьбу! Стряпуха Ритка отменная. И чего Николай бегаёт от такой жены?

Вот он, Коля, по левую руку от Нины. Подливает ей в рюмку вина. Очень, очень сладкое темное вино. «Кюрдамир». Таджикское? Узбекское? Слаще всех узбекский виноград и узбекские

дыни. Чарджоуские. Огромные, зеленые, в кракелюрах, дирижабли. Во время войны – сколько узбеков, таджиков и туркмен слонялись по Куйбышеву! Милостыньку просили. У туркмен – поселенье на том берегу Волги. Катаются на верблюдах двугорбых, плывут-качаются в вышине, а жены их малолетние в юртах сидят, с куклами играют. Выбежит из юрты такая чернокобая жена – а они, девчонки Липатовы, к ней бросятся: скажи, скажи, сколько тебе лет? Она пролепечет: девять. «А правда ты жена?» Правда, правда, кивает. «А как же ты... с мужем?» Как все, пожимает плечами. Смеется. Моницы на шейке, на смуглой грудке, трясутся. Угольные косы, толстые и тугие, покорно висят вдоль круглого, как чайное блюдце, личика.

Коля ей тоже все говорит: ты такая черненькая, может, ты узбечка? Или таджичка? А может, грузинка? А может, еврейка? Или татарка? «Я цыганка!» - однажды закричала она и шлепнула его перчаткой по губам. Как она любила целовать его губы! Его рот! Такой нежный, улыбочивый, приятный. Такой родной.

А ведь он муж чужой жены, Нина. И ты – разлучница.

И ты в Новый, 1953 год сидишь за столом у него дома, и его жена Рита ухайдакалась на кухне, и теперь свалилась без ног и спит в спаленке, и рядом с ней, под тощим боком у нее, сопит сын Николая, пятилетний Сашка.

- Ниночка, я тебе салатика оливье положу?

Молчит. В сторону глядит.

- Что молчишь? Ты слышишь меня?

Нежный, теплый шепот в ухо, горячие губы у самой мочки. От губ пахнет водкой, от чисто выбритого подбородка – чуть-чуть женскими духами: «Красной Москвой».

- Слышу. Положи. Ложечку.

В хрустальной вазе – салат оливье. В другой – салат из крабов. В третьей – сырный салат. В четвертой – сельдь под шубой. Посреди стола – овальное, длинное, как корабль, блюдо, в нем мясо по-французски, с жареным луком и сыром. А вот курица, в духовке запекли, раздвинула ножки!

«Я не курица. И я перед ним ножки не раздвину. Так просто всего захотел».

Нина заставила себя улыбнуться. Улыбайся, ведь это же праздник!

Сестра Валя толкнула ее в бок локтем:

- Ты че, Нин-блин, плакать собралась?

Нина ударила ее глазами, и Валя отшатнулась и деланно засмеялась.

- Я просто так спросила. Не дуйся.

За столом, с рюмкой в руке, встает художник Володя Корбаков. Он хороший художник: пишет крестьян на телегах, бочонки и крынки, и то, как ловят раков в лесной реке, и прекрасные, самоцветные этюды у него. Отличный художник, только Крюков – лучше! Крюков – соперник. И это тоже хорошо. У художника должен быть соперник. Иначе он умрет в ленивой пустоте всеобщих похвал.

- Товарищи! - Трудно перекричать пьяную компанию. Все веселы, орут, руками машут, горят глазами, вздрагивают губами в смехе, просьбах и улыбках! Цветные пятна нарядных платьев плывут и вспыхивают перед глазами: запоминай, художник, чтобы потом с весельем, с блеском, с мастерством – изобразить! - Товарищи! Внимание! Товарищи, мы весьма успешно проводили старый, тыща девятьсот пятьдесят второй! И всячески его помянули!

- Вова, ты не в церкви! - на весь стол крикнул сумасшедший Марк Вороно. Марк Вороно, пациент Вали, с ее участка; немножечко полоумный, но это ничего, безобидный, не буйный. Курчавые светлые бараньи волосенки. По-дамски изогнутые губы. Валя говорит: придешь к нему на вызов, он с температурой лежит, горло бабушкиной шалью обвязано, на табурете близ изголовья вишневая наливка, - и тетрадка на подушке: пишет стихи.

- Господи поми-и-и-илу-у-у-уй! - назло, нарочно забасил Корбаков.

И Крюков подхватил, тоненько, а ля мальчишки-певчие на клиресе, дробно рассыпал:

- Господи-помилуй-Господи-помилуй-Господи помилу-у-уй!

У Вали брови поползли вверх на красивом лице. Она была еще красивее, чем сестра. Тоньше черты лица. Алее губы. Больше глаза. Киноактриса, да и только. Звезда. Еще немного – и Целиковская.

- Мужики, вы ненормальные! Дайте Володе тост сказать!

Гомонили. Смехом взрывались. С трудом утихали.

Вот замерли. С рюмками, бокалами, фужерами в руках.

Николай покосился налево, на Нину. Потом направо, на Валю. Две сестры, две красавицы. Живут над ними. Этажом выше. В однокомнатной квартирке. Он слышит по ночам, как они ходят. Половицы скрипят. Призывная ночная, страстная музыка чужих половиц. Сестрам не спится. Он ухаживает сразу за двумя.

Рита все знает. Молчит. Улыбается. Спит-то он с ней. С законной женой.

- Дорогие товарищи! - возвысил голос Володя Корбаков и выше поднял рюмку, и чуть наклонил, и водка чуть вылилась на скатерть. - Мы с вами живем в счастливой стране! Войну пережили. Переплыли! Из разрухи послевоенной – выкарабкались! Поднялись! Мы все смотрим навстречу будущему! Мы все молодые, - он сглотнул, и нервно дернулся кадык под рыжей бородкой, - ребята...

Коля нашел под столом, под скатертью, Нинину руку, крепко сжал.

- И мы – счастливы! Уходящий год у каждого был... по-своему трудный... и по-своему отличный... Но я хочу сейчас сказать! - Еще выше взмыл голос, от басовых низов летя к звучному, густому баритону. - Вот вся эта роскошь, - он обвел рукой стол. - Все наше счастье! Счастье всех нас! Нашей страны! Зависит! От здоровья! - Паузу важную выждал. Выше рюмку вздел: над головой. - Вождя!

Гробовая тишина. Слышно, как безумная сонная декабрьская муха жужжит в стеклянном рожке люстры.

- И я хочу провозгласить этот тост! За - Вождя! Чтобы он – вы- здоровел! Он нужен нашей великой стране! Всем нам! Каждому из нас!

Все встали, держали бокалы и рюмки перед собой.

Минута молчания. Как на похоронах.

- У всех шампанское налито?! - заполошно крикнул курчавый баранчик Марк Вороно.

Рука Корбакова, высоко, как факел, держащая рюмку, мелко тряслась.

- За здоровье Вождя!

- За здоровье Иосифа Виссарионовича, - спокойно, по-царски произнесла Валя и приблизила свой бокал к рюмке Корбакова, но не достала ее – слишком высоко.

И все закричали, перебивая друг друга:

- За здоровье Сталина! Великого Сталина! Чтобы он был! Чтобы он... чтобы он!.. великого... сильного... ура... ура!

- Ура-а-а-а! - раскатил над столом священнический бас профундо Корбаков, и рюмки и тарелки зазвенели.

И все стали ударять рюмкой о рюмку, бокалом о бокал, и смеяться в лицо друг другу, и улыбаться, и отпивать из бокалов – женщины нежно и помаленьку, изящно пригубливая, а мужчины широко и вольно, разудало в глотку жгучее питье опрокидывая; и хохотать, и целоваться – в воздух, понарошку, чмокая губами, сложенными как крылья бабочки, и по-настоящему – крепко и вкусно, и женщины пачкали яркой помадой щеки и усы и бритые подбородки мужчин и воротники мужских рубах. И все стали искать глазами часы, а женщины подносили к глазам запястья, на наручные часики глядели, на золотые усики драгоценных живых стрелочек, и ушки к циферблату прикладывали, - стучит ли железное дареное сердечко?.. стучит!.. - и ахали, и делали круглые глаза: стрелки бегут, скоро полночь!

- Ребята, двенадцать через пять минут, - Николай выпустил Нинину руку, как задушенную птичку, под кистями скатерти, встал за столом, потянулся к непочатой бутылке шампанского –

открыть. - Времени в обрез. Ставьте все бокалы в центр стола! Я быстро разолью!

Открыл бутылку артистично, виртуозно. Нина любовалась. Чувствовался опыт пирушек, застолий. Крепкой ладонью придерживал пробку, пока не выскочил наружу взрывной воздух. На ладони – шрам, и мышцы уже сводит контрактура. Рана. Ранили на войне. В бок и в руку. В руку – барахтался в ледяном Баренцевом море, когда их сторожевик торпедировали. А англичане тонущих подобрали. Не всех. В бок – под Москвой. Морячков молодых туда послали, в сухопутные войска. Отовсюду срывали: и с Черноморского, и с Тихоокеанского флота, и с Северного морского пути. Все силы стянули. Столицу не отдали.

«Он мог погибнуть сто раз. А остался жив. И мы встретились».

Обожгла, обласкала его черными, шмелиными глазами.

Он не видел ее откровенного взгляда: шампанское разливал.

Пузыристая струя лилась в бокалы, светлая, сладкая, золотая.

- Минута осталась! Загадываем желание!

- Чтобы мне напечататься в «Новом мире»! - зычно, на всю гостиную, крикнул Сережка Викулов.

- Мне родить еще одного! - выдохнула акушерка Лена Дементьева, широкозадая, как пирамида, с лицом светлее полной Луны.

- А мне – на Вальке жениться! - завопил восторженно Мишка Волгин, офицер: и за столом в офицерской форме восседал, при полном параде.

- Дураки! - крикнул Николай. - Каждый загадывает про себя! И молчит в тряпочку!

Быстро, мгновенно разобрали, расхватали бокалы. Стояли с бокалами в горячих пьяных руках. Новый год шел и наступал. Наступал им на пятки. Наступал им на руки, локти, лопатки; на ноги, как танцор в неумелом фокстроте. Наступал – снежным светом – им на ждущие лица.

- Радио включено?! - заорал Пашка Щепелкин.

Но уже били, били, медно звенели, рассыпались по комнате, по столу, над шторами и фужерами, над салатами и пустыми бу-

тылками в углу, на полу, над запрокинутыми к будущему счастью лицами эти звуки, их знала вся страна, ждала и любила: куранты.

Там, далеко, через снега и леса, через реки и города, в большой и прекрасной ночной Москве, на Спасской башне, украшенной красными каменными кружевами, били, звенели колокола эти старые, - под красной самосветящейся звездой, над простынями метели, что вяжется в белые узлы и распадается на белые паутинные нити, и там, в Москве, люди, кто на Красной площади в этот момент оказался, задирали лица к черному стеклянному кругу с золотыми римскими цифрами: счастливые! живьем куранты слышат! - и по всей стране, по всем квартирам, и бедным и богатым, по всем коммуналкам, по всем баракам, по деревенским избам всем, везде люди оборачивались к радио, к черному круглому репродуктору, к маленькой коробочке, источающей волшебные звуки, - вот и здесь, в вологодской квартире Крюковых, все гости повернулись к радиоприемнику, аккуратно укрытому кружевной, с аппликацией, салфеткой, - и под эту вечную упоительную новогоднюю музыку чокались, сталкивались рюмками, бокалами, сталкивались лицами, сталкивались сердцами, сталкивались жизнями.

Хоть на час. Хоть на миг.

Хоть на время, пока бьют куранты.

- С Новым годом, ребята!

- С новым счастьем!

Счастливо блестят глаза.

А может, с новыми слезами?

Нет. Радость это. Такая радость – лишь раз в году.

А сколько новых годов в жизни?

А может, слезы – это тоже счастье?

- Эй! Друзья мои! А где Рита?

- Да, где, где, где? Где Маргарита?

- Маргарита Ивановна! Ау!

- Хоть бы поела чего. Готовила, готовила... крошила салаты, крошила...

- Риточка! Ушла?..

- Господи, куда, в метель...

Черно-синие мрачные стеклянные, длинные гробы окон залеплял белый шелк, холодный атлас, вился, перекручивался – метель царила, владычила, переходила, как всегда зимней северной ночью, в жестокую, мощную пургу.

Коля открыл дверь в спальню. Поднял кулак и погрозил гостям.

- Тихо! Спит, - кивнул в прозрачный, зеркально блеснувший дверной проем.

Из спальни речным черным льдом глядело большое, будто венецианское, зеркало – отражало гул и праздник, охраняло двух спящих – худенькую девочку и маленького мальчика, свернувшихся вместе, в один мерзнувший ознобный клубок, как два котенка, на одной кровати. Девочка была худа, уж слишком тоща; ее никак нельзя было назвать матерью; и все же это была мать спящего мальчика.

И ее звали Маргарита.

- Маргарита, - сказал Коля, и его вкусные розовые, нежные губы поморщились, будто он захотел заплакать или кого-то крошечного, жалобного – поцеловать.

Нина, с бокалом шампанского в руке, стояла около елки.

Не замечала, как колючая черная ветка изловчилась и впилась ей в голый локоть.

Крепдешинное платье, нежно-розовое, все в мелких рассыпанных красных розах. Розы собираются в складки, падают шелковыми, блестящими сгибами. Над плечами – буфы. Кто ж в летнем платье Новый год встречает? И в комнате холодно. Топят плохо. За окном – лютый мороз. Пурга до небес. Волки воют в лесах. Вологда, маленькая деревянная лодчонка, со свечами еще живых, неубитых церквушек, среди черных волн необъятных северных лесов. Плывет, качается.

И они в ней – плывут, и качаются вместе с ней.

Нина поймала взгляд Николая. Он увидел шелковую бледность ее щек. Куда саянский румянец делся. Он все шутил: «Румяные щечки на красной санаторной икре наела?!»

Плотно, властно прикрыл дверь в спальню. Чтобы ни один возглас не проник. Ни один шумок, свист и визг.

- Нина, - к елке шагнул.

Нина попятилась, а сзади была елка, и пятиться было некуда.

Так и стояла – беспомощно, с расставленными руками, в одной руке бокал, пальцы другой растопырены, воздух ловят, а кто-то уже ставит модную пластинку на бегущий круг патефона, и поет, поет воздушный голос Клавдии Шульженко: «Синенький скромный платочек падал, опущенный с плеч!» - и кто-то кричит: «Ребята, ребята, танцевать, танцевать! Вальс!» - а Нина стоит, хвоя колет ей спину через тонкий шелк, и вспыхивают на елке игрушки одна за другой: стеклянный розовый фонарь, картонный мухомор, серебряный белый медведь, изумрудные цепочки и рубиновые бусы, и загораются гирлянды – все лампочки горят, а одна погасла, - и теплятся живые свечи, это хулиган Корбаков понатыкал, настоящие, из церковного темного воска, - и, наконец, бьет по глазам огромная золотая звезда на верхушке: жаль, что не красная. И Нина поворачивает голову, и Коля смотрит на ее профиль: гордый, царский. А глазки такие ласковые, ясные.

Он берет из дрожащей руки бокал и ставит на стол. А то еще швырнет в гнев, в ревности, об стену разобьет.

Валентина все видит. Узкими стали ее глаза. Смеется надменный, смоляной прищур. Ногу на ногу Валя кладет. Добывает из кармана складчатой широкой юбки золоченый портсигар. Откидывает крышку. Берет сигаретку. Галантный Марк Вороно подносит не спичку – зажигалку: ого, «Zippo»! На черном рынке, фронт, купил; и наверняка трофейная.

Туфли на высоченных каблуках. Неудобно в таких танцевать. Или, напротив, удобно?

Мишка Волгин сдвигает каблуки. Офицерский китель выbleскивает под громоздкой, с пятью хрустальными рожками, люстрой всеми медалями и орденами.

Орден за Москву. Медаль за освобождение Ленинграда. За взятие Варшавы. За взятие Берлина. Валька, ты дура круглая будешь, если за меня, такого хорошего и бравого, не пойдешь.

Темная юбка отлетает вбок. Шифоновая кофта пахнет розами. Женщины – это розы, это цветы. Валя – роза с шипами. Как ни старайся, Волгин, как ни вальсируй искусно, не удержишь, пальцы все обколешь.

- Ты говорила, что не забудешь... ласковых, радостных встреч-е-ч! - закатив глаза, подпевал Шульженко уже крепко хмельной Митя Суровцев, художник.

Две актрисы драмтеатра, узрев, что Валя курит, притулились в уголке за елкой, распахнули форточку и тоже закурили, перехихикиваясь и перешептываясь.

- Нина, - говорит Коля тихо, совсем тихо. Шаг, вот она совсем близко. Отводит голову. Гладкая щека. Жемчуг клипсы кусает мочку уха. В ярком праздничном свете виден легкий, невесомый, как иней, пушок на щеке. - Ниночка. Ну что ты.

Пухнут губы, мгновенно вспухают, наливаются болью, алым соком невыпитых поцелуев. Задушенной в крысиных подвалах, в картофельных военных мешках, в кузовах грузовиков, под завалами взорванных храмов, страстной и великой юностью. Юностью, что бешено, до боли и крови, хочет любить и жить. Жить и любить. Жить и...

- Ниночка, я тебя...

Голову вскидывает. Глаза в глаза.

Неловко задела локтем еловую ветку, и золотая звезда пошатнулась на верхушке, не удержалась, - рухнула. Вдребезги.

Коля наступил «сорокоходовским» ботинком на мелкую золотую чешую осколков.

- Порой... ночной... мы расставались с тобой!..

Прозрачный, чуть с хрипотцой, знаменитый голос. Под этот голос бойцы засыпали на фронте в землянках. Он снился им. И эта прическа, модная «волна», крылышками ото лба вверх. Она что, тоже курит, звезда Клавдия Ивановна? Голосок-то прокурила.

Коля берет руку Нины в свою. Другую кладет ей на талию. Вальс, это вальс. Кружись. Танцуй. У него жена, ну и что! Он так глядит на нее! Он выше ее ростом. У него волосы русые,

пушистые, летят вокруг головы – сено, вздутое поземным ветром. А улыбка такая - можно за нее жизнь отдать.

«Нинка, врешь ты все себе, какая жизнь, зачем отдать».

Николай шагнул широко, в проем между Нининых лаковых туфелек. Ах, туфельки. Нищенская зарплата врача. Все равно модельные туфли упрямо покупает девочка. Ах, уже не девочка, конечно. Нина Степановна. Так зовут ее больные и доктора в ее глазной больнице. Так зовут ее крестьяне в заброшенных в тайге деревнях, куда она – на самолете-»кукурузнике», трясучем «У-2», а то и на лошади, и лошадь вязнет по брюхо в снегу, и не греет короткая, по колено, старая шубка, и в валенки набился снег, и снег слепит глаза, такое бешеное солнце! - ездит в командировки: выявлять трахому.

«Трахоматозных в селе - пятьдесят человек. Население (количество) – пятьдесят человек».

Руку крепко сцепил ей, как клещами. Повел, повел! Крутил и вертел. И она подчинялась. Вальс, это новогодний вальс. Нина и Коля. Коля и Нина.

А Рита спит в спальне. Умучилась.

И Сашка прижимается к ее худенькому, тощему, как у сухой воблы, боку, к костяному гребню горячо дышащих ребер, и вскрикивает во сне.

И горят, шевелятся гирлянды на елке, и догорают свечи.

А тут звонок: кого нелегкая принесла?

- Ребята! А может, это дед Мороз!

Музыка бежит за музыкой, песня пропитывает вином песню. Актрисы режут на кухне бутерброды, сквозь фигуры танцующих сочится и вьется терпкий табачный дым, танцует вместе с людьми, умирая. Актрисы наперебой читают стихи поэту Викулову, и поэт Викулов важно кивает головой: о да, талантливо! А это чье? «Бальмонт», - смущенно наклоняет тяжелую лилию головы белокурая актриса. «Бальмонт! Фу! Декаданс! Вы мне лучше Маяковского почитайте!»

Акушерка Лена гремит замками. В гостиную входит старикашка, сморщенный, черный сморчок. Вынимает из кармана грязного ватника горбушку ржаного. Хрипит:

- Закуска! Пустите?

- Садись, Иван Петрович, садись, выпей! - Коля придвигает к старикашке рюмку. - Товарищи, внимание! Это мой натурщик! Петрович, истопник наш! Я с него – этюд писал! И карандашные наброски делал! Пей, Петрович! с Новым годом!

- С Новым, - старик медленно, осторожно берет рюмку, вбрасывает водку в глотку, как дрова в топку; на хлеб любовно глядит, не кусает его – нюхает, будто целует икону.

- Ешь, Петрович!

Старик погружает вилку в нефтяно, цветно сверкающий срезом кусок селедки. Подцепляет кольцо репчатого лука. Жевать нечем – зубов давно нет. Жамкает деснами. Глаза блестят пьяной, почти детской радостью: выпил, поел, согрелся. У хорошего человека.

Николай смотрит на старика пристально. Запоминает.

Художник, гляди. Художник, запоминай.

Художник, все помни.

Нарисуешь потом.

И тут отлетает в спальню дверь.

И на пороге стоит эта худышка-девочка, заморыш.

Заспанная. Белесые, слишком светлые, цвета метели, будто седые, волосы лезут ей в рот, ложатся белыми полосами поперек лица, на лоб, на щеки. Она откидывает их сонной, медленной, кожа да кости, рукой. Из-под волос вспыхивают глаза. А может, елочные игрушки? Слишком синие. Слишком светлые. Слишком сияют: нельзя глядеть.

Слишком детские, а ведь она мать уже.

- С Новым годом, - беззвучно шепчет девочка-Дюймовочка.

Музыка заглушает ее. Ее никто здесь не слышит.

Все танцуют. Все обнимаются. Все едят ее салаты. Все пры-

гают и скачут, как козлы и обезьяны. Человечий праздничный, карнавальный зверинец. Живая свечка падает с елки на паркет, Маргарита быстро садится на корточки, чтобы подхватить ее, схватить огонь. Не успевает. Пламя уже подпало серпантин. А Коля, она смотрит печально, исподлобья, уже разорвал пакет с конфетти – и щедро высыпал цветное смешное зерно на головы танцующих, на плечи и голые, декольте, шеи и груди.

- Пожар, - шепчет беленькая девочка еще тише.

Танцуют! Крутятся! Вихри юбок обнимают голые ноги! Патефон включили на полную громкость! А это уже не Шульженко, это уже Марика Рокк, трофейная пластинка!

Огонь замечают только тогда, когда Маргарита, ползая по навощенному к празднику паркету, кухонным полотенцем сбивает пламя с еловых ветвей, с серебряного, льющегося с верхушки до полу дождя из фольги.

- Огонь, - шепчет Маргарита и, кажется, плачет.

Никто не видит. А может, так она смеется? Спина дрожит.

- Товарищи, товарищи! Внимание! - Посреди танцующих, как вкопанный, встает Мишка Волгин, и брякнули все ордена-медали на его широкой, как шкаф, груди. - Мы тут чуть не сгорели! Пожар?

- Где пожар?!

- Как пожар!

- Фу, горелым пахнет! А-а-а-а!

- Ноль один, Митька, вызывай ноль один!

- Черт! У Крюковых телефона нет!

- Недавно въехали, еще поставят... Коля пробьет... он пробивной...

Маргарита сидит под елкой с грязным обгорелым полотенцем. Синие глаза, незабудки, обводят всех гостей, каждого ошупывают, каждого приветствуют, каждому тихо говорят: «Я тебя никогда не забуду».

Николай выпускает Нину из объятий. Музыка оборвалась. Сняли пластинку с патефона, остановили бег метели. Муж наклоняется над женой, вынимает грязную тряпку у нее из рук, встает

перед нею на одно колено и говорит, мгновенно и стыдно, как мальчик, краснея:

- Ритуля, сядь за стол вместе со всеми. Попразднуй! Ну ты же...

Синеглазая худая девочка тихо кладет ему на губы ладонь.

Тихо встает.

Она – над ним, наверху, а он внизу.

- Я пойду посплю. Я спать хочу.

Он видит ее узкую, как весло, спину, унырывающую в зеркальную, темную воду озера спальни.

В спальнке хнычет ребенок: проснулся. Хочет пить; хочет писать. Хочет спать. Хочет – жить.

Коля, закусив губу, подходит к Вале и вынимает ее, как игрушку, из рук Мишки Волгина.

- Музыку! - кричит. - Там пластинка Лещенко! Ставьте! «Гатьяну»!

Под «Гатьяну» танцуют Коля и Валя, а Нина глядит на них; а Маргарита не глядит, ей глядеть незачем. Она, во тьме спальни, двигаясь медленно и робко, как слепая, намочила носовой платок в холодной воде – на подоконнике кружка. Кладет на лоб ребенка: у него жар. Опять жар. Может, у него вираж. Это она его заразила. Врачи поставили ей диагноз: туберкулез. Поддувание делали. Это очень больно. Рита чуть не задохнулась от боли и слез. Врачи смотрели на нее бесстрастными глазами поверх белых масок. Сказали: «Мы не знаем, сколько вы проживете на свете. Живите».

И она – живет.

Вот еще один Новый год. Еще одна елка. Вологда вместо Москвы. Подушка в слезах – вместо бокала шампанского. Мальчик плачет. Это во сне.

«Тихо, тихо, спи, спи», - шепчет она ребенку, обливая его нежный молочный затылок слезами, прижимает его к себе, теснее, еще теснее, вот так, близко.

И они засыпают оба. Спят.

И не видит Маргарита, как Коля, еще подвыпив, хватается Нину

за руку и тащит ее в прихожую. Актрисы пьяным, птичьим дуэтом самозабвенно поют «Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым-мало спалось». Мишка Волгин, расстегнув китель, чокается с истопником Петровичем фамильным, радужным хрусталем, бьет себя в грудь и кричит: батя, я под Москвой был и выжил! Я Берлин брал! А ты, ты где был, когда я там, под пулями?! Под снарядами... в бога-душу-мать! А?!

«Я в штрафбате был, - пожевав губами, хрипло цедит старик. Чешет черными крючьями пальцев впалую ямину щеки в серебряной густой щетине. - И – ни шагу назад. На mine подорвался. Меня в госпитале по частям сшивали. Видишь, сшили. Спасибо дохтурам. А я-то ведь, паря, и на Первой мировой был. А ты – не был. Так неча тут мне приговор читать. Мал еще. Зелен виноград».

И Мишка Волгин бледнеет; и ель над ним трясет черной мощной лапой, пытаясь стряхнуть с себя прочь, далеко, смешные бирюльки, пустые забавки, жалкие игрушки, блестящую людскую мишуру, золотую чешую, стать снова свободной и лесной.

Но отрублен ствол. И сохнет комель. Ты уже мертвая, ель. И мертвый твой Новый год.

А Коля Крюков в прихожей целует, неотрывно и жадно, как воду ледяную в жару пьет, целует Нину, запрокидывая ей голову, всю ее запрокидывая назад, через колено свое, как в танго, - и Валя, чуть приоткрыв дверь, жадно, неотрывно следит за ними в прозрачную бесстыдную щель бесстыдными, жесткими, горящими глазами.

АЛЬБОМ НИКОЛАЯ

мама Евдокия Семеновна

отец Иван Иванович

КРЮКОВЫ

станция Марьевка Ворошиловградской области

1925 год

Лапоть у тоби уместо лица, лапоть, Дуня.

А у тебя, Иван Иванович, больно уж красиво лицо-то! Всмотрись в зеркало! Ужаснесси.

Ах, Дуничка. Да я ж пошутыв. Шуткую я, впрочем. И не понять тебе. Никогда!

Где уж нам понять-то вас, Иван Иванович. Вы этта, севодни за чем грязны сапоги надели? Я ж вам начистила. Вон, за печкой стоят. Вас ждут.

Эх, Дуничка! Умница ты у мене. Шо ж ты мене ране-то не сбрехала? Я б и правильный став сразу. Чистой. А то ж хрязнай. Ото ж? О це ж! Шахтер – вин и должен хрязнай бехать. Хиба прынцы мы!

Якой же ты шахтер, Иван Иванович. Ты ж тильки тириконы насыпать помогаешь. Лопатой помахиваешь. Вот усе твае тут и шахтерство.

Ах, Дунька ты хлупая. Как у девках хлупая була, так и у бабах хлупая осталася. Кабыдто ты не знаешь, шо я у шахту с рябым Матвей Филиппычем завжди спускаюся? И с фонарем. Усе чинчинарем. Дунь, а ты шо у мене, опять брюхатая, чи шо? Вон оно пузцо-то торчит. Хлопчик там?

Девку хочу, Иван Иванович. Хлопцы-то у нас вже есть. Я вить, не ругай мене тильки, плод хотела скинуть.

Як скинуть?! Ах ты стервь!

Не бей, Иван Иванович. Выслухай сперва. Ну тошнит мене, рвет безбожно. Наизнанку выворачиват. Ить вить у нас с тобою трое мальцов вже ж. Хватит, думаю. И голод прямо животом чую, усими печенками чую. Говорять, голод у нас тут будэ, на Украине. У Луганске и округе. Так брешут.

У Луханьске, дура! У Луханьске, я ж тебе не раз и не два брехал! Ховоры правильно! А то у школу пийдешь!

Не пийду.

Пийдешь!

Не пийду.

Пийдешь! Раз я сказав – пийдешь! Давай про плод, шо стравить хотела, блядина!

Слушаюсь, Иван Иванович. И пийшла я к бабке Заманихе.

Дак вить колдунья вона! Заманиха! Ах, язви...

Слухай, не перебивай усе время. Заманиха увидала мене на пороге – и сцапала за плечи, и развернула, як чучело, и ишо в зад коленом наподдала. Ступай, кричит, и к мене бильше не приходи! Ничого я тоби не исделаю! И матюгами.

И правильно! Умна Заманиха! Я ж ей щиколадных конфет в сельмаге куплю.

Купи, Иван Иванович. Сделай Божескую милость, купи. Ох вона и рада будет.

А ты-то шо?!

А я-то то. Я до хаты приволоклася – и спать рухнула. Среди дня белого. И снится мене сон. Чудеснай. Да слушаешь ли ты?

Слухаю, мать. Гутарь дале.

Вроде б як передо мной высокая така деушка. Уся у белом. Белое платте такое дивно, до пят. Вроде б як свадебно. И вот, девица этта к мене пидходит... а я вроде б як у постеле лежу. Больная. Больная я, чуешь чи ни?!

Чую, мать.

И шо думаешь? Девка этта, уся у белом, так за мной ходит, так уж ходит! И питье пиднесет. И из печи пирог вынет теплый. И разломит, и мене ко рту пиднесет. И с ложечки мене кашей кормит, с чугунка. И повязку мокру на лоб кладет, значит, шоб голова не болела. И шо думаешь? Вдруг рядом с эттой девкой у белом является ангел.

Врешь!

Як на духу, Иван Иванович, ангел Божий. И тож увесь у белом. И ангел девку ту за руку берет, к мене пидводит, ближе, ближе, значит, шоб я девку-то хорошохонько разглядела. И так гутарит ангел: ты, мать, мол, шо этто задумала, с абортм-то? То ж вить твоя дочушка, доня твоя, на свет рожденная, тобой, дурой, не стравленная в одночасье! Ты ж ее сохранила, дурында! И – выродила! А она тоби – на старости лет твоих – когда хворать будешь, и маяться телесно будешь, и точить слезу будешь, шо жизнь неправильно прожила, дура, - помощницей станет! Опорой ста-

нет! Надегой твоей станет, любименькой донечкой станет! Тебе – стару дуру – на спине своей у нужник носить будет, шоб ты облегчилась, дура! В лохани тебе купать будет, дуру! Расчесывать тебе, дуре, твои спутанны седые космы! Умывать в постеле твоей, потчевати с ложки! А ты ее – убить хотела, дура! Покайся, дура, а то хуже будет! И я я-а-ак с постели-то на пол сползу, кости старые свои як об пол тильки грохну! И перед ангелом тем – як мертвячка – застыну! Лбом у пол уткнута! Распласталась, ровно лягуха! Молиться хочу, а – не могу! И голос ангела эттово над собой слышу: не плачь, дура, не плачь, радуйся, ты – человека! - для жизни в соби оставила... ты...

Не плакай, дура моя... шо ревешь-то... не плакай...

Дак я вже ж и не плачу, Иван Иванович... Я – радуюся... Робенок у нас народится... Донечку хочу...

И я хочу.

И Коленька хочет. Колюшке-то вить уж четыре годочка. Усе соображат. Все слова знат. Гутарит бойко. Тильки тут спужавси сильно. Залезли воны с Сереней на горячу плиту, на подпечек. Обожглися. Колька-то со страху и надул на плиту, а вокруг ево пар поднялси! Стоит увесь в пару, не зрит ничего, ножонки, стопочки-то пожег, и вопит на усю Марьевку: “Горю! Горю!” А Сереня жопку всю обпалил. Во всю жопочку волдырь вздулси. Я маслом льняным мазала. Щас зажило усе! А тебе, отец, и дела нет!

Ищо буду я у ваших бабьих заботушках копаться! Жопки, письки... “хорю, хорю”! Хиба ж сгорел!

Не сгорел.

И я у тебе, мать, ищо у шахту с потрохами не провалилси!

Не провалилси.

А эжли провалюся – плакать будешь?

А то. И поплачу. Как водитси. Как положено.

Рыжие, кровавые закаты над черными терриконами. Донбасс – слово бьет в колокол, ударяет в холодную щеку, слово звенит жостью на ветру; советское слово, сокращенное, из двух слеплен-

ное: Донецкий бассейн, а какой бассейн? - угольный, всем ясно. Угля завались. Из-под земли его шахтеры добывают.

Крови тут в людях, в семьях перемешаны: украинцы с русскими, поляки с евреями, татары опять же с хохлами – и немцы встречаются, да и казаки, полно в станицах казачьих семей, их же, станицы, сами казаки и основали при старых царях. Сейчас время советское, краснофлажное; и запрещено говорить и даже думать о царях. Не было их, царей, никогда. И весь сказ. Все это сказки для деток малых. Про то, как спит царевна на пухлых матрацах, а под матрацем – золотая горошина. Это Кольке такую красивую сказку Наталка Шевченко рассказала.

Какая у Кольки семья? Русская или хохлацкая? Не понять. Русские вроде по фамилии, Крюковы. А гутарют как хохлы. Особенно Иван Иванович, отец семейства. Ох и озорник! Горилку пьет – так после вся земля под сапогом его дрожит, так куражится. Голод, революция, выстрелы, разруха – а ему все нипочем. Выпьет – песенку голосит: “Внимание, внимание! На нас идет Германия! Французы ни при чем – дерутся кирпичом!”

В голод мать, Евдокия, не выдерживала – в отчаянье впадала: рвала на себе волосы, голосила, выбежав за ворота, на землю падала, землю ногтями скребла и ела: нечем кормить детей, молока в грудях ни капли. Нажевывала корку, в полотняный мешочек клала, в ротик малютке Кольке втыкала. Он чмокал, сосал, потом как выплюнет! Рожицу сморщит! Рот в крике кривится. Знаю, сынок, молока надобно тебе! Да нету молока!

Рвала лебеду. Из лебеды лепешки пекла. Морщились, а ели.

Друг, старый станичник, снабжал картошкой. Потихоньку, в карманах портков притаскивал Крюковым: пять картофелин – на пятерых. Мать, отец, трое малых. Над картохой дрожали. Гладили ее, грязную, будто детские головки гладили: нежно, осторожно.

Евдокия от голода падала, но чисто полы намывала, плахи дожелта ножом выскребала. “Эжли смерть придет – устретим у чистоте, и чисты будем перед Богом”.

И однажды раздался на улице, близ их ворот, странный звон. Будто бы нежные колокольцы.

Дуня выбежала на крыльцо – и правда, ох, тройка! Как в святое, в царское время! Кучер на козлах. Остановились кони возле их избы аккурат. Евдокия ошалело опять в избу метнулась.

- Иван Иваныч! Иде ты!

Тишина. Ушел.

С друзьями, сволочами, пьет?! И откуда они горилку ту добывают?!

Хлеба нема, а они – с горилкой в обнимку... горе заливают...

Вынеслась ветром к воротам. Из повозки уж люди вылезали. Парочка, гусь да гагарочка. И важные, дородные. Гладкие, сдобные! Он – павлин, она – павочка. Пан и пани, понятно. Попольски гутарют. Ах, поляки мимоезжие, и что вас такое остановило туточки?! около дома моего, Евдокиинового?! Живем мы тут, а хлеб давно не жуем. Лебеду жуем, это да. Крапивные щи варим. Хлебаем хлебово, хлебало разеваем.

Поляки надвигались на Евдокию, как смерч в полях – на одинокую корову.

- Дзень добры! - Высокий седовласый пан наклонил голову и снял богатую баранью шапку. Поздняя осень гнала по дороге последние, сохлые листья. Темнело уж; куда двинется в темень, бедняги? - Пшепрашем, добры вечур!

- Вечер добрый, - неласково ответила Евдокия. И заправила русую прядь под плотно повязанный платок. - Гостями будете, заходите!

Жесткий голос, железный взгляд.

Показала рукой на открытую дверь в избу.

Молодая пани – или паненка, цуречка, кто ж их там разберет? - огромную, как стог, шляпу не снимала, и Евдокия могла рассмотреть все, что накручено-наверчено на ее шляпе: огурцы и помидоры, лилии и розы, лимоны и апельсины, и гроздья сирени, и алые тюльпаны, и весь этот цветочный, фруктовый сад мастера неведомые сшили, слепили из тряпочек и лоскутов, из бархата и

кожи, обшили плюшевым мохом, раскрасили серебром и позолотой, и с ума можно было сойти от великолепия такого! Дуня и сошла, на минуту. Замерла, с открытым ртом стояла, рассматривая висюльки, венчики цветов, из алого шелка пошитую землянику.

Опустила глаза от шляпы-сада вниз. Босые ноги свои увидела. Грязные. В цыпках. Намедни на стекло наступила – обцарапалась, глубоко стопу проткнула. Колька помогал, лечил маманьку, дорожник привязывал. На бинты – церковную, нарядную ее рубаху порвали.

Теперь в церковь нельзя. Теперь в церкви – конюшня. Колхозные лошадки в алтаре стоят, скудное сенцо жуют.

Опять голову вздернула. Опять ослепла от солнечных лучей диковинной шляпы.

- Ну шо ж не заходите? Валяйте!

Первая повернулась, босыми ногами – шлеп-шлеп по чисто намытым доскам крыльца.

Ноги грязные, а доски чистые.

Долго вытирала ноги о разноцветную самовязаную половицу, кинутую у порога.

Поляки тоже вытерли ноги. Пан – мощные, бегемотьи башмаки. Пани – изящные, как вертлявые лодчонки, замшевые сапожечки.

Вошли в избу. Пустой стол. Столешница тоскливо размахнулась на пол-избы. Будто плаха ледяная, плывущая по реке в ледоход огромная льдина. Дерево – не лед, не растает. И Евдокия – не сахарная, не растает: ни от побоев мужа, ни от хныканья голодных деток. Ни от того, что живот ноет, и кровь течет, а то не месячные, а хворь неведомая какая, и гляди, Боженька, вот умрет она скоро.

В люльке – младенчик Зойка качается. Колеблет люльку незримая рука. Сквозняк? А может, ангел тот приبلудный?

Хорошо хоть спит. Не орет от голодухи.

Евдокия украдкой потрогала под рубахой тощую, висячую грудь.

На стулья указала:

- Сидайте, панове.

Паны сели. Поляк подкрутил светлые, пшеничные, могучие усы. Паненка запрокинула голову, вглядывалась в лампочку под потолком. Лампочка Ильича не светилась; на столе, взамен новшества, тускло, собачьим глазом, горела керосиновая лампа. Под выгибом стекла, горящего красным огоньком безумного военного опала, на меди, над зубцами позеленелого от времени медного узора, выцарапано наглым комсомольским ножом: “МЫ НОВЫЙ МИРЬ ПОСТРОИМЬ”.

- Зачем пожаловали? - без обиняков спросила Евдокия.

- За ребенком, - так же прямо, глядя Евдокии в глаза, ответил поляк.

Брови Евдокии поднимались на лоб медленно, неуверенно, кожа на лбу морщилась, и морщились губы, - то ли засмеется во весь рот, то ли ругань грязную из уст пустит, то ли зарыдает да на колени повалится.

- За робенком? За яким таким робенком?

Старалась спокойствие в голосе сохранять. На крик истошный не сбиться.

“А не пошли бы вы, панове, взашей?”

Густоусый дородный поляк покачнулся на стуле, придавил сиденье всей тяжестью сбитого, грузного, сытого тела; Евдокия неприязненно глядела на сметанно-белое, с двумя холеными подбородками, лицо, на нежно-белые благородные, пухлые руки, любовно поглаживающие черный выгиб ручки лакированной, богато выделанной трости. Стул скрипнул. Евдокия выгнула гордо спину. Сейчас она выгонит этих сук из своей избы! Она поняла все. Допрежь, чем пан раскрыл рот для объяснения.

- За вашим ребеночком, пани. За сынком вашим.

- Вот отсюдава! - ярко, ясно крикнула Евдокия.

Крик зазвенел под потолком, укатился за печку.

Златоусый пан прижал белый палец к губам.

- Милостивая пани послушает нас. Пани не можно выгнать вон добрых людей. Мы добирались к пани, пшепрашем, долго. У нас поместье далеко отсюда.

- Его ищо не сожгли?! - неистово крикнула Евдокия.

Поляк прямо, грустно глядел на нее. У него лицо, как добрая морда большой сторожевой собаки. У него глаза яснили, лучились закатным, дальним, больным светом.

- Пускай успокоится пани. Мы не сделаем пани ниц... ничего плохого. - Собачья морда пана дрогнула всей сытой, гладко-перламутровой плотью, щеками-брылами, мягко стекающими на воротник кожаной дорожной куртки. - Нам сказали наши друзья, что у пани много детей, и вот еще один народился, - он показал на качающийся маятник люльки с Зойкой внутри, с белой жалкой гусеничкой, - и семейство пани голодает, и... вот мы здесь. У нас ниц нема... нет за душой ничего худого. Мы, – он сделал рукой широкий круг, обвел вокруг себя, обнимая, сминая ладонью голодный пустой воздух, - бездетные! Не дал Бог деток нам! А нам так уж детку хочется! Так уж...

Встал пан со стула. Тяжко застонал нищий стул. Сделал пан шаг к люльке. Качнул люльку крупной, мягкой рукою. Младенчик в люльке слегка ворохнулся, крепко спеленатый. Изогнулся вертляво белый червячок, сморщилось и чихнуло красное свекольное личико.

- Зоя, - тихо сказала Евдокия. - Зою я вам не отдам.

Радостью просияло лицо пана.

“Не отдаст Зою – значит, кого другого – отдаст”.

- А где детки-то?

Опять сел на стул. Снова стул спел жалобную песню.

С печки глядели три пары глаз. Три головенки вертелись, три носопырки воздух нюхали: не пахнет ли съестным, не приготовила ли мать чего на ужин.

- Мы не просто так, проше пани. Мы денег заплатим, - голос пана стал суровым, непреложным.

Денег. Они заплатят денег! И Дунька купит еды, питья, хлеба, крупы, отрезов – пообносились ведь мальчишки все до нитки!

да и они с Иванычем хороши – дореволюционное тряпье шьют-перешивают! постирают и пелят опять!- и хлеба... хлебушка...

- Хлебушка, - сказала Евдокия вслух, тихо.

Поляк услышал. Еще сильнее, солнечно, на всю избу, засияло круглое, пышное как пирог, породистое лицо.

- Спрыгивайте, вы, бурсаки!

Мальцы будто приглашенья ждали, разрешенья. Посыпались с печи: выщелкнули из стручков жесткий живой горох. Пятками по половицам затопали. Сереня и Вася уселись на лавку, Колька подкатился к панам поближе – и сел на пол у их ног.

“Чует шо-то хлопчик. Неспроста к ним прибился”.

Закусила губу Евдокия. Деньги! Еда!

“Продам Николку, и этих – спасу!”

- Як пана зовут? - спросил поляк и приподнял пальцем за подбородок Колькину русую лохматую голову.

- Я не пан, - Колька мотнул головой на тонкой шейке. - Я Колька Крюков!

- Ага, так, - кивнул головой пан, и золото-серебряные усы его затряслись, замерцали. Видно было, как он весь мелко, восторженно, горько дрожит. Он не хотел упускать свое счастье; счастье само спрыгнуло к нему с печи. - Вот чудо то чудо! Чудо чудовне! И я – пан Крюковский! Корвин-Крюковский! Вспаняле!

В восторге поляк не вскочил – подпрыгнул со стула, взмыл вверх играющей рыбой. Евдокия испугалась: сейчас башкой потолок проломит! Склонился быстрее молнии; Кольку на руки большие, теплые – подхватил. И Колька затих; головеночку на плечо пану склонил; бормотал что-то или пел невнятно, на ходу сочинял – не понять, не расслышать. Птичкой свиристел; медвежонком гукал.

Пан стоял с Колькой на руках и обнимал его.

Как своего ребенка, обнимал. Притискивал.

Евдокия видела: по щекам пана льются слезы.

По такому крупному, дебелому лицу – такие мелкие, смешные, бисерные слезки.

- Сыне, - шептал пышноусый пан, сильнее, крепче прижимая к себе ребенка, - сыне муй, сыне...

Паненка сидела, жестко выпрямив спину. Железный хребет гордо поддерживал хрупкие, изящные косточки. Цветочная сумасшедшая шляпа гнула шею, давила кудрявую голову. Закинув гладкокожее выхоленное лицо, пристально, во все широко распахнутые глаза глядела красуля на пана, и длинные дивные смоляные ресницы паненки достигали бровей, и в тусклом свете керосиновой лампы красно, кроваво посверкивали крохотные серьги в крохотных, меньше ноготочка, мочках.

- Пани Ирена, - в горле у поляка клокотнуло густо, рыдально, опасно, будто он жадно ел и комом подавился, - жона муя... зришь, то наш сын, так...

И тут Евдокия очнулась. Вперед шагнула.

Вся тряслась, как в лихоманке.

- Эй! - взвопила. - Да шо ж это! Я ж ишо свово слова не дала! А вы мене тут вже ж усе по нотам расписали!

- По нотам? - Пан, счастливый, с сопящим и гудящим Колькой на руках, непонятливо, рассеянно обернулся к Евдокии. Будто б Евдокия уж и не живой человек была, не мать этому мальцу, а так – кошка, тряпка, вещь, приبلуда, швабра, в кладовой забытая. - По яким... нотам, проше пани?

Тут встала со стула красотка, женка наглого пана, забывшего о себе и обо всех вокруг в позднем, найденном счастье своем.

- Мы ж договорились! - Ее русский язык был чище, безупречнее, чем у пана. - Вы слышите, хозяйка! Договорились!

Евдокия глядела, как белые, с длинными изящно сточенными, накрашенными нежно-алым лаком ногтями, быстрые, проворные пальцы копаются в сумочке, вынимают портмоне, отщелкивают застёжки, роются, ковыряются, шуршат бумагами. Деньгами – шуршат.

Пани послунила палец. На указательном пальце высверкнул синий перстень; на безымянном – темное розовое золото обручального кольца. Пальцы листали, шуршали, считали.

- Не скупись, matka Боска Ченстоховска! - рьяно выкрикнул пан, и серые глаза его под седыми грозными кустами бровей вспыхнули победно, бешено. Будто он на лошади скакал, и сейчас саблей взмахнет. И голову снесет тому, кто только посмеет... - Все отдай! Иренка! Мы повинны бычь з сынем тераз!

Евдокия почувяла, как половицы уплывают из-под ног, будто она на льдине стоит в ледоход и плывет, то ль по Лугани, а то ль по Ольховой, и сейчас льдина накренится, ломко хрустнет, растаяв на глазах у рыжих голых берегов, и она окажется в воде, и захлебнется, и не выплывет уже.

Еще ближе шагнула к пану. Он держал ее ребенка на руках!
“Уже не отдаст. Присвоил”.

Обернулась на пани Ирену. Она, уставясь в портмоне, все шуршала купюрами, шуршала. Но не вынимала. На стол не кла- ла. Медлила. Жадина!

“Жизнь человеческую покупают. Гады!”

Еда, Дунька, еда, много еды... сразу поедешь на подводе на ры- нок в Луганск... накупишь всего, всего... в погребницу завалишь... на полгода хватит...

“Все равно что съесть собственное дитя”.

Кровь швырнулась в голову красным плеском, кипятком из красной кадки. Зашумело в ушах. Евдокия двигалась медленно и уверенно; так двигаются во сне лунатики, акробаты на арене цирка. Она попятилась к столу, не глядя, нашарила лежащий под рушником около керосиновой лампы нож. Мясной кухонный те- сак. Керосин кончался, и гас фитиль, и изба погружалась в крас- ную тьму.

Так же медленно, нагло, твердо ступая с пятки на носок бо- сыми ногами, раскачивая бедрами, Евдокия подошла к поляку и плавно и радостно, улыбаясь все шире и белозубей, занесла над ним нож.

- Блядью буду, убью, - сказала негромко, но тихая изба услы- шала это каждым паутинным углом, каждой мышью в подполье. - Отдай мальчонку. Пусти.

Поляк сторожко, как охотник на дичь, глядел на резкий выскерк ножа в полутьме, на серебряно блестящее узкой сорожкой, острое лезвие, взмывшее над его шеей и грудью.

- То есть ужас, - тихо сказал, и глаза его остановились, застыли, приклеенные, примороженные к тесаку. - То есть невозможно. Темно тутай. Тшеба... щвятло!.. тшеба...

Евдокия поднесла лезвие к горлу поляка.

- Корвин-Крюковский, значитца. - Голос ее хрипел и пропадал, а потом опять появлялся, выныривал из тьмы. - А может, мы родственнички?! Родня?!

- Мы все родня, - беспомощно, просто сказал поляк. Крепче прижал к себе ребенка. - Пани пощадит нас!

- Не пощадит! - крикнула Евдокия.

Пани Ирена наконец выложила на гладкое дерево столешницы деньги. Много денег. Целую кучу. Бумажный стожок. И как они все умещались у нее в тугом, в виде сердечка, портмоне из телячьей кожи?! Теленочек, бедный коровий ребеночек, и тебя на потеху людскую ободрали, и из тебя кошелек пошили. Будь прокляты люди!

- Будь ты проклят, пан, тьфу, - Евдокия густо плюнула на пол, и лезвие коснулось шеи пана, и из-под полосы остро наточенной стали показалась, выпросталась, медленно потекла по белой коже за белый воротник – кровь. - Я не остановлюся. Пусти робенка!

Она видела, как мгновенно наполнились влагой глаза пана.

Не впервые видела Евдокия, как мужик плачет.

Но чтобы так плакали живые люди – видала впервой.

Колька неловко, как зимняя голодная птица, повернул голову на шейке-веточке, и прозрачные глаза хлопца брызнули в мать самоварным кипятком, душу до сердца прожгли.

Она медленно, осторожно отняла у пана от белого гусяного гора нож.

И она видела, как пан медленно, как во сне, вытирает кровь с шеи холеной, толстой ладонью.

Пан осторожно, как хрустального, опустил Кольку на пол. Колька стоял, оглушенный и ослепленный всем на свете: и теплой, такой родной лаской незнакомого пана, и острым тесаком в руках взбешенной мамки, и приятным, чудесным запахом, доносящимся от красивой паненки: он впервые в жизни обонял женские духи, - и видом длинных красивых расписных бумажек – он уже знал, это деньги, и чересчур, слишком много было денег сразу, здесь, у них, в бедной избе. И не кругляшей-медяков, не беленького разменного серебра, не черных грязных копеек и гривенников, на чешую карпа похожих: настоящих бумаг, с разводами и узорами.

Колька не умел читать, зато Васька уже умел. Васька, наклонившись над столешницей, где возвышалась бумажная горка, читал вслух, по слогам:

- Бан-ко-вый билет... О-дин чер-во-нец... Двад-цать пять тысяч руб-лей... Со-ю-за со-вец-ких... Три чер-вон-ца... чис-того зо-ло-та... Бан-ковый би-лет... подле... жит?... а, подлежит... раз-мену... на... зо-ло-то...

- Советские денежки приволокли, - спокойно и громко сказала Евдокия. Взяла полотенце со стола. Вытерла с тесака кровь. - Откуда богатые-то такие? А?

Колька рванулся, бросился вперед. Обхватил руками колени пана.

- Я на ручки хочу!

Визг взвился, достиг потухшей лампочки Ильича, ввинтился в сруб. Поляк судорожно наклонился. Хотел обнять мальчишку, схватить, прижать к себе крепко, выбежать с ним на крыльцо, вскочить в повозку, заорать кучеру: “Погоняй!” Похитить. Быстро. Нагло. Из-под носа у матери. Не догнала бы она его, с ножом своим первобытным.

Остановился. Заледенел.

Пани Ирена спокойно кивнула на деньги, на столе спящие. Нет, не спали они: шевелились, шуршали, шептались. Жили. Вздрагивали.

Люди наделали денег на горе себе; чтобы не спать, и дрожать, и завидовать, и платить, и красть, и продавать, и грызть локти, если их нет за пазухой, и швырять в толпу, чтобы тебя – щедрого и доброго – любили, любили всегда.

- Так брать – будет пани? Чи ни?

“По-украински молвила, стервоза. Чи ни. Ни, хибя так!”

- Нехай! - Евдокия махнула рукой. Нож сам смешно, неловко вылетел из кулака, пролетел к окну, ударил в стекло, по стеклу пошли хрусткие льдистые круги. - Дите дороже! Подавитесь вы червонцами своими!

“Шо ж мене муженек каже, когда в хату прийде. Шо я полоумная, так и есть. Закричит: на кой ляд тобі лишний рот у семье, ты, дура?!”

Сглотнула слюну.

“Ни. Не скажет так Иванныч. Он – Кольку – больше усех любит. Он бы мене избил смертно, эжли б я...”

Пани Ирена шагнула к столу. Изящно переступила с пятки на носок. Как Дуня давеча. Только Дунька-то босая, а Ирена – на высоких каблучках. Модельные сапожки. Небось в самой Варшаве куплены.

Евдокия слепо глядела, как пани Ирена снова собирает деньги в одну плотную, строгую кучку, считает, пересчитывает, слюнявит, мусолит. И пальцы, пальчики нежные у нее сейчас – дрожали. И ноготочки блестели кроваво. И красная помада лоснилась на губках сердечком. “Будто чоловіка зыла. Як зверюга, с красной пастью”.

Все. Сложила червонцы в портмоне. Засунула портмоне в крокодиловую сумочку. Уселась на стул. Сдается, она нисколько не испугалась: ни ножа, ни криков, ни слез. Бесстрастно сверкали серые, пустые, выпитые кровавой жизнью радужки. Жестко, слепяще горели красные камешки в нежных ушах. Эти глазки видели смерть. Эти ушки слышали вопли пытаемых, казнимых. Глазки и ушки, вы выжили. Вы будете жить дальше.

- Пан Юзеф, - тихо сказала пани Ирена, - вшистко едно. Досычь. Слухай! Досычь!

И добавила по-русски, лениво, ледяно, устало:

- Поехали уже. Казимеж замерз.

Пан Юзеф вскинул глаза на Евдокию.

И тут стряслось что-то странное с Евдокией.

Они оба глядели друг на друга.

Глядели. Глядели.

Никогда в жизни Дуня не изменяла мужу. Иван Иванович ей – сто раз. С кем попало. Однажды с комиссаршей переспал, когда в станице переворот случился. И их не расстреляли. Комиссарша приказала: эту семью – пальцем не трогать! А то всех тогда в станице положили. Всех выкосили. Даже стариков. Спасся лишь тот, кто в отъезде случился тогда.

Глаза в глаза. Лицо в лицо. Губы в губы.

- Мы не поедem, Ирена, - хрипло сказал поляк. - Мы переночуем. Хозяйка такая ласковая.

Евдокия кивнула тяжелой головой. Изба плыла у ней перед глазами, вставала вверх дном, переворачивалась пустой кастрюлей.

- Ночуйте, хрен с вами. Тильки жратвы-то нету вить никакой.

- А, жратва, - задыхаясь, не отрывая взгляда от Евдокии, говорил с трудом поляк, - препрашем, пища! Еда! Про-ви-зи-я! У нас в карете провиант имеется. Жона, прикажи Казимежу, пусть он принесет в избу все свертки! И еще: пусть баул откроет! Там... буженина...

При слове “буженина” из углов рта Евдокии потекла слюна, как у бешеной собаки.

Как в бреду, внутри ненастоящей, чьей-то насквозь выдуманной, чужой и нелепой жизни, глядела она, как из повозки мрачный усатый, на крысу похожий кучер вносит в избу сверток за свертком, баул за баулом, тючок за тючком. Разворачивает. Вываливает на стол: что?.. еду?.. нет, еда такой быть не может; это совсем не еда, это другое – неземное, Божье или дьявольское, она не знает, ведь не видывала такого никогда и нигде: и фарфоровые мисочки – и крышечки беленькие открываются, как ракушки – а внутри что? - черное, сизое, алое, цветные катышки, прозрачные

скользкие шарики, Господи, - и пани Ирена холодно цедит: “Икру сюда”, - и масляная бумага разлетается с мышинным шуршаньем, рвется надвое, натрое, летит прочь снегом, а под снегом и льдом – кус мяса копченого, и нос закладывает от счастья: это нюхать нельзя! Это есть нельзя! Это детям, только детям!.. - а рука сама тянется, а ноготь уже, как хищный зуб, жадно вгрызается в мягкую нежно-розовую подвяленную свиную плоть, - и трясущейся рукой Евдокии несет кусочек буженины ко рту, и губы вбирают мясо, как вбирали бы – чужие губы – в греховном ночном поцелуе, - и дети глядят, как мамка ест, а им не дает, - и тянутся робко к маманьке, и встают на цыпочки, и верещат, как щенята: “Дай! Дай! И мне! И мне!” - и пан сам ломает, разламывает на куски свежий пахучий хлеб, и раздает детям, и снова чистые золотые слезы текут по его щекам и тают в топорщащихся от стыда и жалости золотых усах. “Золотой мой!” - хочет вышептать ему Евдокия – и не может: у нее рот занят, жует она, жадно глотает, а на стол летят все новые чудеса – вот рыба огромная, с костяными пластинами по бокам, вот рулет сдобный, пропитанный то ли медом, а то ли вареньем, - и чужая, Иренина, холодная и нежная рука уже ее, ее тесаком, которым она чуть не зарезала пана, режет рулет на тонкие кусочки, - а вот и помидорки в прозрачных банках, и в корзинке – яйца: и успевает еще Евдокия подумать: вареные или сырые?.. и хочет взять яйцо и крутануть на столе, чтоб определить, сварено ли, - и пан сам в руку ей кладет яйцо, как на Пасху, и шепчет Евдокия смущенно, ощущая кулак свой, лежащий в руке пана, как живое горячее, только из кипятка, яйцо.

- Пане, у нас же не Паска зараз...

- У нас Пасха теперь завжди.

Горячо у Евдокии внутри. Вот они все уже расселись за столом – Васька, Серенька, Колька, Дунька, Иренка и Юзеф, будто век знакомы, будто праздники вместе справляют! Будто б вареники вместе, на доске, мукою посыпанной, вместе, в двенадцать рук, лепят! А Иван-то Иваныч иде ж? А леший его знает! Ушел, как корова языком слизала! И нет его! Нет и не было! Нет – и – не было?!

Едят! Пьют! Дети рты набили, гутарить не могут! Только челюсти молотят, и за ушами трещит! Уголодались. Устрадались. Может, этих панов тот самый, белый, Зойкин ангел и послал? Может, окромя еды – еще и денежек на прощанье оставят? Будто невзначай, на столе, под самоваром... А можно и так, в открытую, из рук в руки... Она – возьмет... Она не гордая...

- Иде ж вам постелить, панове? - Стояла, руки в боки. Все внутри колыхалось, будто не потроха под ребрами – белье под ветром. - Хотите – в летней комнате? Там воздух чистый. Хоть и змерзнете вы щас там, ноябрь вить. Да я хоть буржуйкой натоплю. А хотите – на печи? Робятню сгоню. Они и на полу поспят, на матрасике. А хотите – на кровати?

- А ты ж сама где будешь?

Пан изо всех сил старался быть бесстрастным.

Ирена вскинула длинные хвойные ресницы.

Прозрачные глаза с виду равнодушно мазнули по горящим, как угли в печке, безумным глазам мужа.

- Я-то? А не тревожьтесь. Найду местечко.

Дети, наевшись, уснули мгновенно, где попало: Сереня – на полу под столом, как кот, Колька и Васька – в обнимку – на лавке у разбитого окна. По избе гулял ветер. Евдокия подошла, заткнула дыру в стекле полотенцем. Кивнула на кровать, ее и Ивана:

- Ложитесь. Рассупонивайтесь. То ись простите дуру, вы ж не лошади, раздевайтесь, конечно.

Криво усмехнулась. Перед пьяными от еды глазами плыли стены, ходики, желтые фотографии отца и матери в золоченых рамках, мертвые мухи, прилипшие к лампочке Ильича.

Она постелила себе у порога собачью подстилку. Чтобы сторожить; чтобы слушать воздух, ночь, чтобы не спать. Чтоб не пропустить, когда за воротами послышится топот мужниных сапог.

Она знала, что пан придет. Она хотела, чтобы он пришел. Ждала его.

И он пришел.

Мягкое тесто тел каталось в руках и раскатывалось по черной доске ночи; лепились бешеные пельмени щек и ушей, засыпанных острым, жгучим, щедрым перцем поцелуев; таял лед синяков и побоев, и над талой водой всходило солнце лица – и лиц внезапно становилось много, они летели и смеялись, они пеклись временем, как большие теплые блины, и чья-то мощная рука срывала их с обжигающей черной ночной сковороды и бросала голодным: нате! жрите! успеете насытиться! - и нежно, плывуще, с тонким собачьим далеким воем, таяло в груди страдание, а вместо него тихо и незаметно рождалась радость – такая радость бывает в жизни лишь однажды; и не повторится она больше никогда. И, когда Юзеф, задыхаясь, на вытянутых руках приподнялся над раскинувшейся, разлившейся по подстилке, как весенняя река, тяжело дышащей Евдокией, он вышептал ей в лицо, и хмельным древним медом втек тот шепот в слышащие сейчас весь мир уши ее:

- Ну вот, теперь ты... будешь знать... будешь думать... что это я... я, Юзеф Крюковский... отец твоего... Николеньки... ребенка... твоего... он же теперь... и мой... слышишь!.. слышишь... слышишь?!..

И сказала Евдокия Семеновна, жена Ивана Крюкова, единожды мужу своему нагло, ночью, с проезжим мужиком, изменившая:

- Слышу. Слышу, родной. Слышу. Аминь.

А Иван Иваныч той ночью напился с шахтерами горилки, и на голодный желудок сильно захмелели они, и созоровать им захотелось, и, распевая срамные дикие песни, двинулись они на берег Лугани, на ноябрьский сырой и грязный бережок, и взял Иваныч багор, и подошел к банькам, кучно лепившимся у обрыва, и поддел багром баньку одну, слабей всех в землю вкопанную, и перевернул ее, дивясь силище своей пьяной и костеря площадными и подземными словесами себя, друзей, баньки, осень, голод, время, - и спустил баньку в Лугань, на первый заберег, на несмелый тончайший серый, перламутровый лед, и разбил гнилой сруб

нежный заберег, и медленно, важно, печально поплыла банешка прочь от берега, от грязи, от земли, - прямо в ночное небо поплыла, в тучи, набрякшие тяжелым черным снегом, и стоял Иван Иванович, тоскливо на баньку глядел, провожал ее пьяными солеными глазами, - навек провожал: на веки вечные уходила, уплывала она от него, его жизнь, его пьянка-гулянка, голодуха его лютая, осень его близкая, война его распроклятая, революция его кровавая, потроха же ее да детьми его не увидены будут, - любовь его избитая, жена его верная, лишь однажды ему неверная, да прощено будет ей сие прелюбодеяние, ибо отдалась она названому отцу любимого сыночка своего Коленьки, да будет жив он, Николка, да не коснутся его войны и крови, да не увидит он судорог и рвоты голодной, да не расклюют его труп вороны, да не пойдет он червям на пищу, а жить будет, только жить, ведь так прекрасно жить и хулиганить, жить и пить горилку, жить и любить бабу, жить и прямо, весело, сумасшедше глядеть в лицо близкой смерти, как в лицо бабы, под тобой распластанной соленой селедкой, закуской опосля стопки пьяной озверелой страсти: в любви плывущей и бьющейся, в любви как рыба играющей, розовой, румяной, стонущей, зачинающей, - то ли бабочки-однодневки походной, а то ли – навек, до гроба любимой.

*С. Н. А. с обезьянкой Сонечкой на руках
Владивосток, 1941 год*

Валы катят. Огромные валы.
Океан – не море. У океана огромное, длинное дыхание.
Длинный тяжкий вдох. Бесконечный выдох.
Соль и горечь рыдания, белозубой пенной улыбки.
Стоять на берегу океана с женщиной – вот счастье.

За их спинами – далеко – белый город: отсюда он маленький, как пряник на ладони.

- Владик какой красивый, - нежно говорит женщина.

Когда они рядом, так близко, как сейчас, хорошо видно: она старше его. Намного. Может быть, вдвое.

Она могла бы быть матерью ему.

Но это неважно.

Важно то, что она – его женщина.

Вот она стоит на берегу, с серой смешной обезьянкой на руках, и глядит вдаль.

- Да. Очень красивый. Софья!

Они обернулись обе – женщина и обезьяна.

- Да?

- Ты не замерзла? Ветер.

Она повела плечами под батистовой кофточкой. Слишком сухопарая. Чересчур, как у спортсменки, втянутый, впалый живот. Она шутила: «Ко хребту пузо присохло». Он целовал этот живот, эти крепкие, в перекатах почти мужских мышц, маленькие руки. Горячая кожа, потом прохладный, мятный провал. Однажды ночью она ему сказала: «Коля, все мы состоим из пустоты». Он слепо нашарил коробку с папиросами около изголовья, закурил, красный уголек сигареты судорожно ходил ото рта к пепельнице, качался во тьме. «Не понял». Софья приподняла уголки губ. «Молекулы. Атомы. Между ними такие огромные расстояния. Как в космосе между звездами. Мы думаем, что мы есть. На самом деле нас нет. Есть только сгущение материи. Так что не бойся смерти. Мы – пустота, и уйдем в пустоту». Он схватил ее за голые смуглые плечи, затормошил, зацеловал яростно: «И любовь – что, тоже пустота?! Да?!»

- Нет. Мне хорошо. Люблю ветер.

Шагнула к нему, и обезьянка пронзительно запищала у нее на руках, всползла выше, на плечо, и так на плече сидела, как курица на насесте, глядела круглыми умными глазками на океан.

Николай погладил Софью по щеке. Овал лица в виде дынной косточки. Брови чуть подняты к вискам. «Она похожа на японку».

- Когда твой... из похода вернется?

Подобие улыбки пробежало по бледно-розовым нервным губам.

- Уже не вернется.

Крюков отступил на шаг.

- Что...

- Да нет, ничего. Жив. - Улыбка явственной стала. - Просто мы расстались.

- Почему? Из-за меня? - Ветер выносил, вил ленты бескозырки впереди его загорелого лица. - Глупо. Ты написала ему, что полюбила другого?

- Он сказал мне, что полюбил другую. Позвонил из Токио.

- Вот как.

Глаза бегали, ощупывали ее лицо. Рука взметнулась, потрепала обезьяну по загривку.

- Так что я свободна как ветер. - Софья раскинула руки. - Ветер!

Подошла к кромке прибоя.

- Сонечка, душечка! Искупайся! Боишься водички?

Обезьянка ловко, цепляясь пальчиками, покарабкалась с плеча – к ногам в лаковых узконосых туфельках, на землю. По россыпи гальки ступала на четырех ногах. Потом на задние ноги встала и ручки вскинула. Море приветствовала!

Отпрыгнула – вода ей голые пятки лизнула.

Софья села на корточки, взяла обезьянку за лапку, указывала на воду:

- Ну давай же, давай! Поплавай!

Николай подскочил и под тощей задик подтолкнул обезьяну; она не удержалась и смешно кувыркнулась в воду головой. Забила ручками-ножками, пытаясь плыть, выплыть.

Софья хохотала, а Крюков кричал:

- Не захлебнись! Чемпионка!

Вынули мокрую обезьяну из воды. Она дрожала. Серая шкурка слиплась от соли. Софья спустила с плеча ремень сумочки, вынула носовой платок, крепко растерла Сонечку.

- Домой придем – душ примешь, Сонька, мохнатая ты ручка...

Теперь Крюков мокрую обезьяну на руки взял. Так шли по берегу – моряк в широченных брюках клеш, женщина в черной

юбке и прозрачной батистовой кофточке, а с ними смешная обезьянка ручная.

«Святое семейство, ага». Обезьянка обвила ручками Колину шею. Софья косилась. Йод и соль океана ударяли в ноздри, насыщали легкие волей и тревогой.

Они, все трое, шли к Софье домой.

Теперь – к одинокой Софье.

К Софье Николаевне Антоновой, бывшей жене морского офицера Семена Антонова, что ходил на корабле «Серебряков» по Северному морскому пути.

- Тебя на сутки отпустили с корабля?

Спросила заботливо, как мать.

Ветер положил ему на губы черную ленту бескозырки.

- Сегодня в двенадцать ночи конец увольнительной.

Крюков – матрос на миноносце «Точный». Из Ленинграда сюда, на Тихий океан, практику назначили проходить. Третий курс Фрунзенского военно-морского. Как познакомился с Софьей? Да просто, на вечеринке, случайную девчонку подцепил в увольнительной на танцах в клубе, та пригласила с ходу: «Айда к подружке моей, у нее сегодня день рождения!»

Пришли. Подружка совсем взрослой оказалась. В черных волосах – вымазанные мелом времени пряди. Стол от яств ломился. Крюков тарасился, как в цирке: никогда не видал ни анчоусов, ни лобстеров, ни желтых солнечных кругов разрезанного ананаса! Хозяйка сразу понравилась: ноздри породистые, ножки стройные, смеется мало, улыбается много, зубки мелкие-ровные, кормит от пуза, пластинки красивые крутит: хор мальчииков, песни Дунаевского, арии из модных оперетт.

- Хотите Клавдию Шульженко?

«Хотим, хотим!» - вздымали хрустальные рюмки гости. И водка, вино проливались на скатерть. Гостей немного, но все уже перепились – и девки, и парни, и прилично одетые мужики, и даже Колькина девчонка домашней наливки наглоталась, глазки

враскоец. Софья поставила пластинку, и голос обволок матроса с головы до пят:

- Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане...

Пьяные гости повскакали. Еще и танго ухитрялись танцевать! Чуть не падали. На мебель валились. Смеялись, обнимались: в танго все позволено! Софья встала, спина линейки прямой, к Николаю шагнула.

- Белый танец. Дамы приглашают кавалеров, - усмехнулась.

Думала: впервые танго танцует матрос, - а он-то взял да уверенно повел, шагом широким, рука на талии властная, веселая! У них во Фрунзенке все танцы танцевать учили: и вальс, и танго, и медленный фокстрот, и быстрый, и даже пасадобль. Тонкие черные, искусно выщипанные брови Софьи на лоб взлетели.

- Чему вы удивляетесь?

Задыхался: от радости. Водка в голове гудела.

- Вы отлично танцуете.

- Я не только танцую отлично.

- А что, еще и поете?

- И не только пою. Хотя да, пою, под гитару.

- Да вы нахал.

Николай плотнее прижал ее к себе и отогнул назад. Игла сорвалась, с хрипом и свистом побежала по пластинке, процарапывая ее больно, калеча.

Они не помнили, как гости разошлись, разбежались, уползли. Счастье, что никто не заночевал под столом. Не помнили, как обнялись. Им казалось: они обнимались всегда.

Чистые, хрустящие простыни поразили его в самое сердце.

И запах, этот дразнящий, печальный запах лаванды.

Духи стареющей женщины.

Да она и не скрывала свой возраст. Ни от себя; ни от него.

В постели она внезапно стала такая маленькая, как ребенок. Или это он такой огромный? Клал ее себе на живот, на грудь. Она лежала, как цирковая обезьянка, показывала в улыбке мелкие

зубы, они блестели в свете зеленой настольной лампы. «Я свет не выключаю, чтобы тебя видеть». Целовалась так жадно – вот-вот съест, проглотит. Изголодалась.

И он изголодался.

Уснули под утро. Крюков в пять утра вскинулся – глянул на будильник на полированной тумбочке: пять утра! В шесть надо, как штык, быть на корабле. Будить Софью не стал, беззвучно с дивана скатился.

Когда брюки напяливал – ее пристальный, свежий взгляд поймал: будто бы и не спала.

На насмешку сорвался:

- Наблюдаешь?

Она перевернулась на живот. Лежала голая поперек широкого дивана, как на пляже загорала.

- Я тебя уже изучила.

- Ну и как я тебе?

Уже около дверей стоял.

- Ничего, - лениво протянула она. - Неплохо. Еще приедешь? Адрес запомнил?

Крюков повернул ключ в замке, обернулся к нагой Софье и отдал честь.

На миноносце «Точный» команда отправилась из Владивостока на юг, через Японское море и Желтое море – к экватору. Учебное плавание? Нет, настоящее! Это их, курсантов, носом, как котят, в морское дело тыкают. А бывалые моряки терпеливо учат: это так, а вот это – эдак.

Чем отличается вода разных морей?

Да ничем. Всюду – солнце. Всюду – в штить – легкая, быстрая серебристая рябь. Всюду – в шторм – грозные валы до небес, и мутит, и блевать тянет, и опытные моряки посоветовали: отрежь ломтик лимона и соси, легче станет.

Бортовую качку Коля легче переносил, чем килевую. Килевая – выматывала окончательно. Пластом лежал на койке, привинчен-

ной крупными болтами к стене; ненужный лимон сгустком золота, желтой гранатой катался по каюте под кроватью, взад-вперед.

Нет, воду все-таки различал. В Японском море – густо-синяя, в солнечный день – яркий, веселый изумруд. В Желтом – грязная, и вправду буро-желтая. Когда старпом сказал: «Скоро экватор!» - долго вглядывался в сине-серую даль, следил взвивы гребней: не поверил, что так далеко уже от дома. От Родины.

Все та же вода. Волны все те же.

А жара – иная.

Моряки все высыпали на палубы. Белые бескозырки шляпками белых грибов – под неистовым солнцем. Пот по лицам течет.

- Эх, ребята, ну у вас и мокрые рожи! Как из бани!

- Баня, она и есть баня... Экватор...

- Спроси командира, можно ли окунуться.

- Какого лешего окунуться! Тю, сдурел! Че, с борта прыгать будешь? Тут же акулами все кишит!

- Не, ну сдохнем от жары... честно...

Крюков подошел к капитану. Капитан «Точного», Александр Гидулянов, крепыш, лицо-колобок, ноги-кегли, сам отдувался, потное лицо обшлагом утирал.

- Товарищ капитан, разрешите обратиться!

- Сам вижу, жарко, - кивнул Гидулянов. - Есть одна идея!

Идею осуществили. Взяли огромный брезент, на крючья подвесили, в воду опустили; получилось подобие брезентового бассейна. Моряки сбрасывали одежду, с восторгом, вопя и хлопая себя по груди и ногам, попрыгали в океан. Плавают, как в тряпичной кастрюле! Одни головы видны!

Парни в теплой, соленой лохани плавают, а рядом с ними – по загнутым краям брезентухи – акулы плещутся, морды высовывают. Играют!

- Ребята, а они похожи на дельфинов!

- У, злыдни...

- Ты, слишком к ним не приближайся! Нос откусят!

Брезент на палубу поднимали вместе с купальщиками.

Николай видел голых товарищей, моряков своих родных; руки-ноги загорелые, черные, а животы-зады – беленькие, младенческие. Молодые бычки, широколобые телята. Как вам жить? Как быть? Море – дом родной. Говорят, скоро будет война. «Говорят, что кур доят!»

Из того похода на экватор Николай привез Софье подарок: маленькую обезьянку. Заходили в порт Шанхай, капитан Гидулянов в шанхайском госпитале навестил больного консула Советского Союза, и консул ему свою домашнюю обезьянку сосватал: возьми да возьми, пропадет она тут, я по больницам скитаюсь, с женой развелся, детей в Союз отправил... ухаживать за зверем некому, сжался, а?

Сжалился капитан.

А потом Крюков у него обезьянку ту переманил: она радостно переселилась в каюту к Николаю, он ее из рук кормил, с ней забавлялся. Пытался учить ее считать, говорить и даже петь. Петь она быстро научилась: Коля играл на немецкой губной гармошке, обезьянка, умильно сложив голые розовые ладошки, смешно подвывала. Матросы хлопали в ладоши: браво, бис!

А во Владик пришли – капитан так и сказал: бери, Крюков, зверя, он к тебе больше привык, чем ко мне! И Коля обезьянке в каюте даже кроватку соорудил, из старого ящика из-под боеприпасов.

Увольнительных капитан матроса Крюкова не лишал никогда: вел себя примерно, служил исправно.

Про то, что у Крюкова возникла на берегу страсть, Гидулянов быстро догадался. Но не придерешься: матрос возвращался на корабль всегда без опозданий. Только бледный очень. Куда и загар девался после ночи любви.

А потом, однажды, Коля принес Софье обезьянку в подарок. Коля звал ее Феклой.

Софья же сморщила нос: фи, Фекла! Крестьянское имечко.

Назови как хочешь, пожал плечами Крюков.

Софья назвала обезьянку – Сонечка.

Как себя.

И Крюкову не раз казалось: она у бездетной Софьи – ее ребенок.

Уроливый, грустный, мохнатый, смешной, любимый.

И еще один день, и океан льнет к ногам, как преданная собака.

И еще один вечер. Прекрасный, как все с Софьей.

Каждая минута и каждая секунда с ней – прекрасна.

Чашка крепкого красного шанхайского чая. Откупорена пузатая бутылка синего бомбейского ликера. Самый дамский напиток. Софья пьет мало. Скромно, как птичка. Ей нельзя спиртное – у нее аритмия. «Что такое аритмия, Софья?» Она грустно улыбалась, и обезьянка весело повторяла ее улыбку. «Когда сердце не знает, куда себя девать. И выпрыгнуть из груди хочет». Он обнимал ее за плечи, как старый муж – старую жену. «Тогда у меня тоже аритмия». Отгибал ее голову, припадал губами к губам.

Сердце рисовало вензеля. Выкидывало коленца. Сердце становилось большой рыбой, хищной акулой, и хотело крови, боли, еды, - любви. Хотело выпрыгнуть из океана разлуки – на берег, на единственный берег. Ты потонешь в белой соли, в синей бездне! Нет. Никогда. Я выплыву. И я тебя спасу.

Они спасали друг друга. Ласкали друг друга. Софья, голая и грациозная, несла ему в постель на тарелочке бутерброды с икрой. «Я еще получаю паек за мужа. Мы еще не развелись официально». А он правда не вернется, спрашивал Колька с набитым ртом, а вдруг он сейчас откроет дверь своим ключом? Софья, запрокидывая голову, хохотала. Обезьянка хохотала тоже, страшно скаля желтые зубы. «Не откроет! Я замок поменяла!»

- Ник, хочешь выпить?

- Хочу. Но ты же не пьешь со мной. А я не на поминках.

- Ну давай рюмочку.

Подносила ему рюмку, и он видел – ее руки дрожали.

И седую нить в воронье-черных прядях – хорошо видел.

Выпил рюмку голубого ликера. Поморщился.

- Софья, а у тебя водки нет? Что съешь мне дамский напиток...

- Есть. Налью.

Принесла водки. Он глядел в ее прозрачные, холодно-болотные, будто водкой налиты две хрустальных рюмки, пожившие, усталые глаза.

- Софья! Роди ребенка!

- Выпей, Коля.

- Софья! Я серьезно!

- Пей. Устала держать.

Он взял из рук у нее рюмку, резко влил в глотку, занюхал кружевами Софьиной ночной сорочки: уткнул ей губы и нос в плечо.

Когда водочный жар разлился у него по возбужденным, пылающим мышцам и жилам, она сказала тихо:

- Тебе молодая родит.

Повалил ее в подушки. Тискал. Чуть не плакал.

- Нет у меня никакой молодой! Ты – молодая! И будешь молодая всегда!

Подняла руку. Навзничь лежа в подушках, ласкала его теплой рукой, ласкала – чуб, лоб, улыбчивый нежный рот.

- Я могу умереть в любой момент.

- Отчего?!

- От мерцательной аритмии, Коленька. Ее не лечат. И не оперируют. С этим живут и умирают.

Он покрывал ее поцелуями, раздевал, сдирал рубашку – шея, плечи, щеки, живот, сгибы рук загорались под его губами, вспыхивали и гасли и снова пылали – ярко, в ночи, горело ее сухое поджарое тело, ярче всех ламп, фонарей и салютов.

Ночь глядела на них гигантским перламутровым глазом близкого океана.

Дом Софьи на самом берегу стоял – выйди из подъезда, и океан в тебя волной плеснется.

- Софья... ты океан мой...

Старые фотографии

- Дурачок. Я всего лишь женщина твоя. Одна из твоих женщин. Их у тебя... еще много будет...

- Не говори так!

И она замолчала.

На всю оставшуюся ночь.

...глаза – куски моря, глаза-волны, глаза плещут океанскою солью. Ладони превращаются в глаза и видят. Живот – огромный глаз, он тоже видит – слепым зрачком пупка. Все есть зрение, и все есть цвет. Свет и цвет. Все хочет видеть и жить; и он хочет всегда видеть – и жить тоже всегда. А можно ли жить всегда? Есть ли бессмертные люди? Если бы были – все бы о них знали, вся земля.

Софьюшка! Ты не бессмертна. К черту твою аритмию! Ник, ты не знаешь ничего, что с нами будет. Я хочу написать твой портрет! А ты разве можешь? Могу. Боцман дает мне малярные краски. Я его портрет уже нарисовал. Значит, ты талант? Ник – талант! Софья, если ты не хочешь мне позировать, давай я тебя сфотографирую. И – по фотографии нарисую. Ха, ха-ха! По фотографии – только покойников рисуют. Я не покойница еще. Я живая!

...ты живая. Ты самая живая. Я тебя...

...никогда не говори этого женщинам. Только – любимой.

...но я же тебя...

...целовал ее ладонь, обжигал губами. Мертвенно-голубой океан бельмом, осьминожьим перламутровым ужасом, водяною глубокою гибелью мерцал, качался за окнами, над крышей, над звездами. Океан заполнял собой все пустоты и все ямы. Если вдохнуть воду, когда тонешь, вода забьет легкие, и ты ощутишь дикую, последнюю боль. Тонуть очень больно. Вода – не для дыханья. Вода – для питья. Выпей меня! До дна! Чтобы видно было сухое, мертвое дно. Как при отливе. Знаешь, во время отлива я находила на берегу мертвых морских звезд. Они теряли оранжевый веселый цвет. Погибшие – бледные, серые лежали. Жизнь – это свет и цвет. Она цветная, яркая, вкусная. Любимая. Ты моя...

...нет, молчи.

Хочешь, я сыграю тебе на гитаре? Камин горит... огнем охваченный... в последний раз вспыхнули слова любви! В тяжелый ча-а-а-ас... здесь мной назначенный... своей рукою письма я... сожгла твои... Не играй. Не надо. Лучше – тишина. Слушай тишину. Я слышу твое сердце, оно бьется. Бьется еще? Это хорошо. Хочешь, я разожгу камин?

И письма мои – своей рукою – сожжешь?

...я письма твои целую... И фотографии – тоже... Все думаю: вот тебя с «Точного» на другой корабль переведут – и ты... ни письма... ни снимка...

...дурочка. Я буду тебе их каждый день писать. И из всех портов – посылать. А конверты – духами душить... твоими...

...ты мой...

...молчи!

...ты мой океан. И я тону.

Кто из них повернул ручку радиоприемника? Зачем?

Может, Софья хотела послушать музыку?

Странный, зычный голос раздался – будто раскатывался над площадью, над великими просторами, под черным приморским небом.

- Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас...

Софья вскочила с дивана. Простыня поползла за ней белой змеей. Подушки на паркет свалились.

Голая, стояла посреди комнаты.

- Молотов говорит, - сказала занемелыми губами.

Початая бутылка бомбейского ликера отсвечивала голубым льдом.

Крюков тоже встал. За папиросой потянулся. Балкон открыт. Свежий воздух по комнате гуляет. Свежий ветер. Хрусталь в шка-

Старые фотографии

фу посверкивает хищно. Золотые Софьины часики лежат на туалетном столике. Обезьяна мирно спит в корабельной дощатой кроватке – Коля с «Точного» принес.

Часики тикают. Идет время. Идет.

Оба, голые, на сквозняке стояли, слушали.

- Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы Советской авиации с честью выполняют долг перед Родиной, перед советским народом, и нанесут сокрушительный удар агрессору!

Коля курил и сыпал пепел на паркет. Глядел, а глаза не видели. Наши доблестные армия и флот... и флот...

- И флот, - повторил вслух.

«Беломорина» обожгла пальцы. Послунил, смял искуренный бычок в кулаке.

- Софья. Что это?

Шагнула к нему, грудью прижалась к его груди. Закинула руки ему за шею.

- Это война.

Ночной бриз колыхал занавески.

Обезьянка кряхтела. Пищала тонко. Плакала во сне.

Коля в окопе.

Декабрь 1941 г.

Таруса

Снег голубой, жесткий. Можно есть. Пить.

Лицо зарывать в шерсть серого, синего зимнего кота.

Надо смочь.

Страх!

Из всех чувств остался только страх.

Очень большой. Огромный.

Прячь в снег голову, как в кастрюлю.

Взрыв снаряда вместе со снегом вырывает из земли – землю.

Она летит в стороны, бьет чернотой в лицо, в каску.
Каска. Ощупай каску. Она еще на твоей голове, и твоя голова – живая.

Живая.
Жизни уже нет. Ее больше нет.
Что есть вместо жизни?
Страх.
Все врут, что на войне выживают.
На войне все умирают. Все.
Красная Армия пошла в контрнаступление.
Сорок девятая армия; генерал-лейтенант Захаркин. Ты еще помнишь фамилии генералов. Помнишь имена. Ты солдат. Ты обязан знать имена командиров.
Сейчас ты не знаешь и не помнишь ничего.

Есть у тебя жизнь?
Есть, еще кусочек остался, за пазухой.
Как хорошо, отлично, что перед атакой им дают спирт.
Сто грамм. Наливают в каску.
Стаканов тут нету, и закуски нету.
Нет тут ничего, что в мире было.
Спирт пахнет железом и твоей головой невытой.
Глотнешь – и поймешь: огонь снаружи, и огонь внутри.
И – завеселеет! Будто на танцульках.
И никакой атаки не будет. Никакой и никогда.

Не высовывай голову из окопа!
Это ему кричат?
Нет. Не ему. Гошке Фролову.
Гошка мировой парень. Он такой чистый. Все грязные, а он – чистый.
Телом. Душой. Чистый весь.
И девушки у Гошки до войны не было.

А у него – Софья. Во Владике.
Настоящая любовница. Прическа как у Дины Дурбин.

Вот и сейчас, скоро, в атаку; и спирт опять по каскам разольют.
Чистый спирт. Спиритус вини.

А на «Точном» они делали ликер из сгущенки, и водку туда
лили.

Водка – это тоже спирт, только водой разбавлен. И вся разница.
Неумехи – глотку обжигают, закусывают снегом.

Цап в руку снег – и в рот.

Белое мясо. Белая рыба. Белое сало. Белый хлеб. Белый сахар.
Почему вся самая вкусная еда – белая?

А почему армия – Красная?

И почему, когда видишь кровь на снегу, тебя рвет?

Летянин стоит, поварешка в руках, из бидона зачерпывает.
Солдаты подходят, с касками в руках. Земляные стены окопа осы-
паются. Мороз их некрепко еще схватил.

Крепчает мороз. Скоро станет лютым зверем.

Убить врага. Убить зверя.

Один зверь убивает другого зверя.

Ты – человек? Еще человек.

Человек.

Потому что ты боишься.

Он тоже подошел, цепляя плечом шинели ледяную землю око-
па, и протянул каску: давай, Летянин, жми-дави во все лопатки.
Не жалея наркомовской пайки! Поварешка ровно на сто грамм,
что ли? Кто измерял? Наклонился над бидоном, хотел рассмо-
треть свое отраженье в спирте, - да Летянин поварешкой больно
хлопнул его по голому лбу: куда суешь нос, все выпить хочешь?!
после боя еще дам, если останешься живой! - и он послушно, роб-
ко еще ближе каску к Летянину подсунул, и Летянин зачерпнул из
бидона прозрачной, ртутно-живой жизни – и плеснул в каску ему.

Он шагнул в сторону, освобождая место следующему. Бойцы подходили и одинаковым жестом протягивали каски. Он понял: это не разные бойцы, это один боец, - и стало еще страшнее. Люди. Кто такие люди? Может, это земля живая, неколебимо, навсегда живая, а люди на ней – только ножки сороконожки, перебирают, шагают, бегут, потом падают – отмирают. И взамен вырастают другие.

Люди-щупальца. Люди-присоски. Люди – гусеницы и черви. Почему жизнь разумна? Потому что разумно все. И червяк думает. И улитка страдает.

Это он только сейчас понял.

Сжимая каску в руках, прижимая к животу, сел у земляной стены, скрючился. Сейчас выпьет, а закуски-то нет. Захмелеет. В атаку побежит вензелями. Стыд! Снег. Спаситель.

Ни капусты сегодня. Ни тушенки.

Он – снегом закусит.

Вечный снег. Эта зима бесконечна. Она кончится тогда, когда ты умрешь.

Когда тебя убьют.

Он ниже, по-бычьему нагнул голову над каской, не каску ко рту поднес, а к каске – голову. Чуть наклонил железную плоску. Спирт вылился сквозь зубы в судорожно дергающееся горло на удивление быстро – даже глотка не получилось: пламя ощутил, жар в желудке, потом красный веселый туман перед глазами заплясал. И все.

Закусывать не надо.

Осмотрелся.

Он видел: бойцы пили так же, как он – украдкой, вроде как исподтишка, вроде они маленькие, а водку пьют без спросу, бутылку похитили из родительского шкафа, и увидит мать, и оплеух надает. Глотали, будто кто над душой стоит, отнимет. Поднимали незрячие лица. Отваливались от касок, как быки – от воды – на водопое. Переводили дух. Нежно улыбались сами себе. Тому, что выпили – живой чистый спирт еще живыми губами.

Он заглянул в каску: пусто. Вытер внутренность каски рукавом шинели. Понюхал рукав. Пахло хорошей водочкой. Как в мирные времена – из рюмки – в застолье. Он видел в Марьевке голод. Чуть не умер с голоду. Он видел красивые праздничные столы в Ленинграде. Он поднимал бокалы с шампанским, бокалы с грузинским вином. Но вкуснее этого спирта перед атакой он ничего не пил никогда.

«Еще бы глоточек!» - тяжело вздохнул боец рядом, и он, не глядя на него, кивнул. Надел каску. Растер ладонью грудь, грубая шерсть шинели окарябала руку.

Сколько времени до атаки?

Если выдали спирт – уже совсем немного осталось.

Далеко, за белым полем, подлесок; и ветер гнет, бьет друг о дружку заледенелые ветки. Он отсюда, из окопа, слышит их легкий звон. Он пьян? Уже бредит? Что ты еще слышишь, душа?

Он прислушался. Солдаты, выпив, загалдели. Сквозь строй голосов он схватил ухом, вдохом, губами тонкий вой, снежный вскрик. Волчонок в лесу? Лисенок? За перелеском – деревня. За деревней, близко, Таруса. За Тарусой – Ока. Река подо льдом. Вот бы на санях проехаться, лошадку кнутом постегать.

Не надо стегать; сама побежит.

А их – стегают, чтобы – бежали.

Плотно, умалишенно прижмурился. Вот бы ничего больше не видеть. И что? Сидеть так?

Да, так; покачиваться, напевать песню.

Губы разлепились. Сквозь гул, хохотки, невнятицу голосов, кашлей, матюгов и, шепотом, молитв из обожженной спиртом глотки наружу просочилось это, забытое:

- Не уходи, тебя я умоляю!

Слова любви... стократ я повторяю...

Пусть осень у дверей – я это твердо знаю,

Но нет, не уходи! - тебе я... говорю...

*Наш уголок
Нам никогда не тесен!
Когда ты в нем,
То в нем цветет весна...*

Ему каску на лоб, на нос в шутку опустили.
И голос грубый, веселый донесся: «Эй! Песенки отставить!
Лирические, твою мать! Сейчас в атаку, а ты что поешь?!»
Да, что я пою?
Что же я пою?
А разве я пою?

Он открыл хмельные, зверино блестящие глаза – и робко, просительно огляделся, будто хотел сказать, выкрикнуть: «Ну дайте я последнюю песню спою!»

Молчали. Уже приказ крикнули, а он и не слышал.

Вместе со всеми он сдернул с плеча винтовку. Штык грязным серебром горел в вечерней сизой тьме, темнело рано, и атаку назначили на пять вечера, он помнил.

И крика: «В атаку!» - не услышал; оглох – от всеобщего воя, плотно сбитого вопля, поднявшегося изнутри, из-под земли, - и люди поднялись из земли одной грязно-серой волной, колышущейся стеной винтовок и шинелей, и побежали вперед, вперед, и он тоже выпрыгнул из неглубокого окопа – на диво легко, будто циркач – и побежал, побежал, вместе со всеми, удивляясь, что пьяные ноги не заплетаются, а пьяные руки хорошо, крепко держат оружие.

Он бежал, громко топая сапогами по земле, и земля отвечала ему гулом, и он радостно думал о себе: слышу еще, слышу, еще бегу! Не убили! «За Родину! За Сталина!» - надывая глотку, прокричал бегущий рядом с ним Леха Свистун. Леха умел подражать соловью. А еще он свистел «Интернационал» и «К Элизе» Людвиг ван Бетховена. «За Ста...» - вместо крика из груди Лехи

вылетел клетот, и он упал, раскидывая руки, но винтовку не выпустил, крепко держал.

Коля обернулся лишь на миг – и увидел, как с головы Лехи скатилась каска, откатилась по снегу, замерла. Черной чашей на снегу лежала. Сумерки опускались слишком быстро, платком на клетку канарейки. Грохот поднялся вокруг: их, бегущих, косил огонь, стрелы огня. Земля взрывалась сзади и спереди, и он, переставляя тяжелые ноги, наклонившись вперед, с винтовкой наперевес, думал: вот вырвет снаряд клок из земли, и я туда упаду, вот и будет могила. Просто и удобно.

Страх. Где страх?

Страх исчез. Вместо него появилась тонкая и прозрачная, холодная ясность. Он бежал и глядел на все будто на просвет: он видел глубину вещей, видел сквозь мир – глубины земли, боль неба, потроха убитых товарищей: они падали, падали рядом с ним, прекращая бежать, кто со стоном, кто кричал, безобразно разевая рот, кто коротко ахал и падал навзничь, и глаза не закрывались, и мертвый продолжал в небо глядеть.

Он не видел ничего. Он бежал. Спирт горел в животе, в глазницах, на губах. Спирт, последний поцелуй пьяной жизни. А жизнь, да, ведь она окунает во хмель! Пьешь, все пьешь и не напьешься. Да никто никогда не напьется. Налей! Еще хочу!

- Еще хочу! - дико закричал он.

И сам услышал свой крик.

«Кому это я?» - подумал отчаянно. Бойцы рядом с ним падали и умирали.

А кто-то еще жил.

Он не видел, некогда было смотреть по сторонам; надо бежать, - но остро понимал: не все, кто упал, умер сразу.

Замерзнут. Ночью ударит мороз. Ледяные глаза будут в небо глядеть. Ледяные губы – землю целовать.

Сейчас и я. Вот сейчас.

- За Родину! - крикнул, и крик обжег глотку; и мгновенно охрип.

Потерял голос.
Рот раскрывал, а вместо крика – хрип.
Когда кричишь, легче бежать.
Легче умирать.
- За-а-а-а... Ста-ли-на-а-а-а-а...
Хрипи, хрипи, выталкивай из себя вон, в стену огня, свое последнее, живое.
Телами Москву заслоним.
Жизнями.
У них – железо, а у нас – жизни.

Смотри. Еще видят глаза.
Хрипи. Еще хрипит глотка.
Рядом с ним боец крикнул, гораздо звончей и громче, чем он:
«За Сталина!» - и краем глаза он успел схватить: Гошка Фролов, да, еще бежит, топает рядом.
Огонь на миг угас. Сейчас опять вспыхнет.
Грохот ударил по ушам, лицо опалило, и сознание отнялось.

Очнулся.
Не сразу понял, где он и что с ним.
Шею не повернуть. Больно.
Кое-как перекатился со спины на живот. Голову приподнял, тяжелее гири.
В воронке, вырытой мощным взрывом, лежали бойцы.
Не считай. Не надо.
Все твои.
Наши.
Катился вниз, все вниз и вниз, по плоской выемке ямины.
Докатился донизу. И здесь тела. Снаряд попал в гущу бегущих солдат, и сейчас трупы валялись изуродованные – не узнать; не опознать. Пахло кровью. У крови есть запах. Он соленый и сладкий. От него – блевать тянет. Не смотри, говорил он себе, ползая между тел, не смотри, нелзя. Глаза зажмурил. Себя спросил: а ты, ты-то что, жив остался?

На дне воронки, между убитых, гладил руки и лица, касался одуревшими зрачками разбитых черепов. Гляди. Уж лучше гляди. У тебя есть память. Ты – запомнишь.

Зачем? Разве сегодня, сейчас меня не убьют?

Запомни на сегодня, на сейчас.

Сейчас – это почти вечность, если ты жив.

Навалился всем телом на мертвое тело. Уже остыл боец. Как быстро. Он горячий и живой, а труп ледяной. Негнущейся на морозе рукой повернул к себе голову. Голова уцелела, а живот разворочен осколком, и красно-синие кишки лежат смиренно, тихо, мертвые красные змеи: выползли наружу. Голова. Лицо. Полчаса назад это еще был человек.

И вдруг пошел снег.

Он шел с небес вниз, медленно и важно, а может, поднимался с земли – вверх, не понять. Сшивал нежной белой строчкой небо и землю. Синее мрачное небо и черную страшную землю. Белой, наивной ниткой сшивал.

Снег рос и рос, густел и густел, валил и валил, заслонил уже всю мрачную котловину боя чистой веселой белизной; и Коля облокотился на пропитанную кровью землю, локоть ушел в ее холодную мягкость и тьму, и задрал голову, запрокинул лицо, и открыл рот, и ловил, ловил снег губами, зубами, сердцем его ловил, - и снег, осыпаясь с далеких небес, чувял Колино желание и прямо до сердца доходил, и холодом, легким и мятым, его омывал, крестил, и летели с неба белые звезды, тут же таяли на горячем лбу, на горячих руках, и только на горячем бешеном сердце – не таяли, становились бьющейся белой кровью, плачущей белой душой, клочком пара, что излетал из губ, со снегом смешиваясь, - нежностью и памятью, и всякая ушедшая, погибшая жизнь незаметно и горько обращалась в снежинку, в сиянье, в легкое прикосновение спокойной природы к воспаленному, мокрому от слез лицу: в благословенье.

Я не верую, Господи, в Тебя не верую.

Но вот я – видишь – живу.
Я жив. Убили всех.
И командира. И бойцов.
А я – жив.
И мы – взяли; что взяли?
Что мы у войны взяли? Высоту?
Это она – нас – взяла.
Себе в объятья.
Любовница.
Теперь каждому любовница – смерть.
Так все просто.

Снег шел и шел и засыпал его, и он – засыпал под снегом, сворачиваясь в звериный теплый комок, сминаясь, сжимаясь в снежный мокрый ком. Кожа голая, она не согреет его под шкуркой шинели. Замерзнет он здесь. Какая разница, от мороза или от осколка умирать? Или от пули? От штыка? От мороза – слаще, горячее. Спишь, и сходит горячий сон.

И видишь во сне – девочку.
Маленькую девочку. Ромашку.
Она идет к тебе в венке из ромашек и поет песенку. Твою любимую.

*Не уходи... еще не спето столько песен...
Еще звенит в гитаре... каждая... струна...*

Где страх?
Страха не было.
Куда-то убежал. Исчез.
Грохот продолжался там, далеко, над головой. На земле. В ином мире.
А он – под землей, в яме.
Сейчас его засыплет снегом, и поминай как звали.
Белизна. Покров.

Старые фотографии

- Мы Тарусу возьмем, - сказал ледяными губами.

Поднялся на руках над смиренно лежащим рядом с ним телом.

Гошка Фролов глядел в небеса.

Лед синих радужек. Незнакомая улыбка. Удивление.

Гошка и мертвый не верил, что мертвый он.

Коля протянул красную на морозе руку, как у вареного рака клешню, и закрыл Гошке ледяные глаза.

Лежал бессильно, раскинув руки, повторяя мертвых.

Не понять, кто мертвый, кто живой.

Снег запорошил винтовку. Вечер катился бочонком пьяной тьмы. Он чувствовал себя внутри ямы, как в трюме. В сиротьем трюме земли. Главный груз – трупы.

Мы родились на земле, по ней ходим, и в нее ляжем. Все правильно.

Раньше или позже – это уже другой вопрос.

Стащил с головы каску. Накрыл ею лицо.

Подшлемник и железо пахли спиртом.

Они все пили спирт ровно час назад.

Его нашла сестричка медсанбата. Уже к утру.

Белый свет тек от снегов.

Сестричка шарила в яме лучом фонарика. Николай пошевелился. Сестричка ахнула, сползла в воронку, подхватила Колю под мышки. Она маленькая, а парень рослый. Как его до верха дотянуть? Надрывалась. Ревела. Слезы ладонью размазывала. Коля застонал и сказал:

- Пусти. Я контужен. Пуля меня обошла. Сам пойду.

Сестричка засмеялась от радости.

Они вместе ползли из ямы – наверх, к снегу, к звездам.

Выбрались. Коля повел головой – и увидел по полю: трупы, трупы.

Поле мертвецов.

- Ты это запомнишь? - спросил, на медсестру не глядя.

- Да, - сказала девочка, пряча седую прядь под ушанку.

Коля, Рита и Саша в новой квартире.

Вологда. Декабрь 1952-го.

Только что въехали в новый дом

Густо-синее небо: сплошной ультрамарин.

Густо-белая метель: сплошные белила.

В живописи чистого белого цвета нет. Белила надо всегда смешивать: с сиеной жженой, с умброй натуральной, с краплагом красным даже. Неважно. Подмешать в белую пустоту – цветной и яркой жизни.

Почему на торжества жизни всех наряжают в белое?

Крестильные беленькие пеленочки. Белое свадебное платье.

Белый саван.

Человек выходит из снегов и ложится в снега.

Жизнь, обряженная в белое, выглядит строго и нежно и чисто – ни единого пятнышка грязи, пошлости, вранья, засохшей крови.

А врач? Он же тоже в белом халате?

Да. В белом. И в белой шапочке. Чтобы ни один микроб не пристал.

А у ухо-горло-носа на лбу – круглое зеркальце на ремешке.

И у окулиста – тоже.

Зачем им зеркальце?

А чтобы лучше видеть вглубь.

Вглубь уха слышащего. Вглубь зрачка видящего.

В рисунках кровеносных сосудов на глазном дне, в переплетеньях артерий и вен – жизнь вся записана: и болезни, и победы, и разводы, и роды, и где-то там, далеко, за желтым солнечным пятном, за налитым прозрачной нездешней водкой хрусталиком, - разрыв тонкой жилы, кровоизлияние, красная тьма: твоя смерть, милый, милая, твоя родная смерть.

Вечер раскинул над Вологдой синий мягкий шерстяной плат, расшитый мелким речным звездным жемчугом. Метель мела, то ярилась, то утихала, обращаясь в хитрую льстивую поземку. Опять вспыхивала, ветер взывал, выл в трубах брошенной, голодной собакой.

Грузовик тяжело тархтел по занесенной снегом дороге. Шофер потихоньку матерился, оглядывался на сидящую рядом, в кабине, красавицу. Что глазки! Что губки! Черненькая краля, алая помада. Шапочка черного каракуля, и кудерьки смоляные – из-под шапочки. Пахнет хорошо, духи ненашенские. Заграничные. Барынька.

А где та стрекозка в войну-то летала? Где крылышками махала?

«Я-то воевал, автомат в руках сжимал, - шоферу безумно курить хотелось, - под пули, под снаряды ложился, друзей в земельку чужую покпал, а вот она где куковала, кукушечка? Явно штабистка! А то и подстилка фрицевская, если – в оккупации ошивалась...»

- Все, прибыли, Валентина Степановна! - Грузовик затормозил у нового четырехэтажного дома на окраине. - Вылезай!

Валя поправила каракулевую шапочку, кокетливо сдвинула узкими, как у Тициановой кающейся Магдалины, пальчиками на затылок.

Выпрыгнули из кабины. Шофер галантно подал руку даме.

- Деньги я тебе уже отдала, - поджала Валя аленькие губки.

Шофер шурился на еле видные черные усики над ее верхней губой.

- Еще ждешь?

Усмехнулась.

Шофер помялся. Тоже сдвинул ушанку на затылок.

Метель била им в лица.

- Грузчиков-то у вас нет? Нет. Я могу помочь! Только вы мне...

- Заплачу.

В кузове, на узлах, сундуках и чемоданах, сидела Нина. Прижимала к груди тючок с теплой одеждой. Мама Наталья навязала

полно всего – и кофты, и носки, и платья, и рейтузы, и телогрейки: Север же, доченьки замерзнут!

- Нинок-блинок! - Валя кокетничала черными камешками глаз, белозубой улыбкой, мелкие жемчужины зубов сверкали в голубых лучах старого фонаря. - Как ты там? Не заоченела? Давай, сгружайся! У нас помощник!

- А какой номер квартиры, Валь? Я забыла!

- Дура ты и есть дура!

- Еще слово скажи!

Шофер откинул заднюю стенку кузова, протянул руки.

- Прыгайте, Нина Степановна!

И тут из метели человек шагнул к грузовику.

Опередил разбитного шофера. Огромный, в добротном, дорогом пальто – драп букле, бобровый воротник шалью. Плечи широченные, как у штангиста. Ботинки зимние новенькие – не гнутся. В мороз, а без шапки! И ветер развевает легкий золотой пух волос, и метель швыряет в волосы снег, и снежная крупка – на висках, на сине-карем бобровом меху, на кожаных перчатках.

Уже стоял перед кузовом. Руки тянул. К ней, к Нине.

И Нина – растерянно – робко – бесповоротно: прыгать-то все равно надо! - шагнула с кузова – прямо в руки красавцу-незнакомцу.

Когда он ловил ее, хватал в объятия ее падающую сладкую, женскую тяжесть, его лицо оказалось напротив ее лица. И на нее пахнуло родным запахом.

И мужчина втянул ноздрями запах новой женщины.

Сколько их у него было! Разве упомнишь!

Не так уж и много, ты, донжуан. Не задавайся. Нечем тебе особо гордиться.

Перед глазами мелькнули нежные, веселые и печальные лица, лица. Плыли мимо и пропадали в метели. Милые, незабвенные женские лица. Софья... цыганка Ольга... Маша...

- Коля! - донесся слабый тонкий голосок из метели. - Коля, мы ждем!

Нина обернулась на слабый крик. В гущине белых вихрей стояла телега. Лошадь ждала, когда ее кнутом хлестнут, грустно опустив морду. В телеге – куча скарба: шкафы и книги, посуда углами торчит из-под мешковины. А это что?

Доски какие-то. Узорчатые, позолоченные. И под тряпками, запорошенными снегом, - штабелями – то ли дрова, то ли плинтусы, то ли...

Нина расширила глаза. Вгляделась в метель, через плечо богатыря. Бездумно, беглой лаской, коснулась розовой щекой бобрового меха.

Чужой мужчина не выпускал ее из рук. Почти обнимал ее.

Нина увидела: девочка около телеги, и мальчика маленького за руку держит.

«Должно быть, его дети. А мать где? Сироты?»

Маргарита, крепко стискивая Сашкину ручонку, глядела на Нину.

Потом глаза на Валю перевела.

Сестры. Похожи. Обе в каракулевых шапочках, у обеих пальтишки каракулем отделаны. Красивые. Актрисы? Вологодская драма актерами славится. Точно, на антрепризу приехали! И точно из Москвы! «Кажется, вот эту, - глядела сквозь буйство метели на Валю, - в кино видела... не помню в каком...»

Красавец мужчина, похожий на Шаляпина, наконец расцепил руки. Нина вышла из кольца его рук, шагнула по пушистому снежку раз, другой. Валя сердито пхнула ее в бок кулаком:

- Копуша! Шофер-то ждет! Таскать нам вещи будет! Бери глаза в руки, а руки в зубы!

- Вас как зовут? - весело спросил Шаляпин без шапки.

- Нина... Степановна.

- Очень приятно. А я Николай Иванович Крюков. Вы тоже въезжаете?

Валя стащила с рук перчатки и нервно била себя перчатками по ладони.

- А это моя сестра. Валентина.

- Степановна, - раздраженно добавила Валя.

- Коля! - снова крикнула Маргарита из метели. - Мы ждем тебя!

Николай оглянулся. Не беспомощно: властно, вальяжно. Он здесь был царь, король и победитель. Он и привык таким быть. Какая-то лесная Вологда! Он приехал из Ленинграда, лучшего города в мире!

- А это ваши дети? - Нина кивнула на две фигурки у телеги в метели.

Коля захохотал, запрокидывая голову. Алмазный снег переливался, искрился на бобровом воротнике.

- А-ха-ха-ха! Это – моя жена! Рита! И сынок мой! Сашка! Александр Николаич!

Помахал Маргарите и Сашке рукой, будто он уезжал, а они его – провожали.

Лошадь лягнула воздух, копыто врезалось в снег, - заржала просительно, требовательно.

- Очень... приятно...

- Я сам лошадей правил! - гордо воскликнул Крюков.

Расстегнул пальто. Пола разошлись. Под полами – твидовый роскошный пиджак, атласный галстук мощным узлом завязан.

- А вы... актер?

- А вы тоже актриса?

- Нет. Я врач. - Нина носик повыше вздернула. - Офтальмолог. А Валентина терапевт.

- Степановна, - уже зло, громко поправила Валя.

Шофер мялся, переступал с ноги на ногу, как кот, чующий свежую рыбу.

- А я – художник. Видите, это мои произведения искусства!

Широко, как косец – косой в разнотравье, махнул рукой на телегу.

Нина поняла. Рамы. Подрамники. Позолота и серебро багетов. Штабеля, квадраты холстов, картонок – под грязной мешковиной. Бумага в рулоны свернута. Там – рисунки. Его рисунки. Художник!

Его глаза, восторженно глядящие на Нину, ясно и непреложно говорили, кричали: «Я и тебя нарисую. Когда-нибудь. Скоро».

Крюков взглядом властелина оглядел все: телегу с дрожащими Ритой и Сашкой, грузовик, полный разномастной утвари этих забавных красавиц-девчонок, врачей дипломированных, а он-то думал – актрисульки доступные, - дом, сверкающий окнами – и горящими, и мрачными, - горы своих холстов на телеге: а лошадку-то он должен отдать, обратно хозяину возвратить, а хозяин-то на вокзале сидит, ждет, пьянствует: Коля ему на четвертную дал, он и рад погулять.

- Товарищи! - Голос возвысил. - Слушай мою команду! Я вам всем сейчас помогу! Мы с тобой – подмигнул шоферу, - все на свои плечи мужские крепкие возьмем! А девочкам – только легкие вещи таскать! Девочки, поняли?!

Метель заглушала его голос. Вой ветра все громче, тоскливей. Рита снова крикнула, покорно стоя у телеги:

- Коля! Я ничего не понимаю! Сашенька замерз!

Подхватила Сашку на руки. Нина удивилась: такая козявочка, как под тяжестью ребенка не упала?

Николай уже не только командовал – сам ловко вспрыгнул в кузов, передавал шоферу дорожные деревянные сундуки, баулы, перевязанные крест-накрест пледы и одеяла.

- Эка! Вас, девушки, как на Северный полюс экипировали! Какой номер квартиры? Куда тащить? Где ключ?

- Вот ключ, - Валя вытащила ключ из кармана и повертела им под носом у Николая, как вкусной конфеткой. - Двенадцатая квартира!

- Ух ты! Здорово! А у нас – восьмая! Прямо под вами будем! Вы там одни будете?

- Нет, - тоскливо сказала Нина. - С хозяйкой. С Ольгой Андреевной. Нас подселили. Временно.

- Нет ничего постоянного временных вещей, - назидательно сказал Крюков и важно поднял палец. И Нина опытным взглядом врача схватила: ладонь пулей пробита, пальцы сведены контрак-

турой. А может, это оттого, что правая рука все время сжимает палитру? - Павлуша, - шоферу бросил, - давай, эй, ухнем! Еще разик, еще-д раз!

Оба приподняли, подхватили тяжелый сундук. Понесли.

«Будто гроб», - со страхом подумала Нина.

Маргарита все стояла, с Сашкой на руках. Девочка-мадонна. Ветер шатал ее, тростинку. Лошадь, не дождавшись понуканья, медленно жевала мягкими, волосатыми губами.

Валя стояла возле подъезда, держала дверь. Нина волокла мешок с шерстяными вещами.

Когда кузов грузовика опустел, и снег начал бить белыми струями в дощатое днище, Крюков наконец вразвалочку подошел к Маргарите. Богатое пальто уже давно валялось на снегу, в сугробе – он вспотел, скинул его.

- Ритуля, ну что ты тут? Ну села бы в телегу... Ну ты не видишь, что ли, людям помогаю! - Ему стало стыдно, больно от ее белого, как снег, заострившегося личика. - Ну не строй из себя сломанную игрушечку. Ну ты ж понимаешь! Я же не мог... я же должен...

- Коля, - сказал Рита, без сил садясь вместе с Сашкой на край телеги, - ты никому ничего не должен.

- Ты видишь, мы закончили! И девочки шофера отпустили.

«Они не отпустят тебя».

Рита прижала к себе Сашку, как тонущий пловец – спасательный круг.

- Вижу.

Валя и Нина стояли у подъезда. Шофер, получив из Валиных рук еще приличную мзду, сложил губы в трубочку, посвистел довольно, деньги засунул в карман ватника, ручкой девицам сделал: «Пока! Бывайте!» Грузовик, зафыркав, отъехал, в белую дорогу впечатался ребрастый узор шин. Николай оторвался от жены и сына, подбежал к Нине и Вале. Снег на черных волосах. На баранных шапчонках. Красивые девчонки. Просто прелесть! Вот натура так натура!

Старые фотографии

- Девочки, - задыхался, - я вас... обязательно... напишу... маслом на холсте...

Валя сделала насмешливый реверанс.

- Мерси боку.

- Кран висит на боку, - тут же сказала Нина – и закрыла ладошкой в перчатке болтливый рот.

- Приходите в гости! Квартира восемь!

- Это вы к нам приходите. Мы умеем жарить татарские беляши! И – вертеть пельмени!

- А вы откуда приехали-то? Из Казани? Вы татарки?

- Я из Куйбышева! Нинка вот – из Бурят-Монголии вернулась! Работала там! А вы?

- Я из Ленинграда! А жена – из Москвы!

- Это вы что, в разных городах жили?

- Да! В разных! У нас брак такой... брак двадцатого века! Как в кино!

- Да, как в кино...

Молодые врачи исчезли за дверью. Когда Николай подошел к Маргарите, они с Сашкой уже превратились в маленький сугроб – так много снега намело на Ритину шапку, на шубейку. Она все прижимала Сашку к груди и кашляла, кашляла надсадно.

Коля просунул Рите руки под мышки, поднял ее из телеги. Страхнул налипший на шубейку снег. Синие глаза распахнулись, опухли его недавним, незабытым. Не упреком, нет: смирением и терпением.

Все та же любовь, светлая и смешная, детская и чистая, не требующая ничего, прощающая все, струилась из ее глаз поднебесным, ясным светом. От впалых щек ее пахло ромашковым мылом. И он устыдился.

Своего желания. Того, что мужчина он.

Что ему – до безумья – две красотки-сестрички, медички, приглянулись.

- Риточка, Рита... я же мужчина... я же должен помочь... ну что ты в самом деле... что...

- Ты мужчина, да, - кивнула, с Сашкиной шапочки снег отряхивая. - Да, ты мужчина.

Изогнулись губы в улыбке.

«Она все знает, что произойдет».

«Я все знаю, что произойдет. Но это же ничего не меняет».

- Пойдем. - Старался не смотреть на нее. - Ключ у тебя?

- У тебя, Коля.

Он сжал в кармане холодный огромный ключ.

Маргарита слабо, нежно улыбалась.

- А вещи не утащат?

Ее голосок провел ему по сердцу наждаком.

- Утащат? Пусть утащат. Пес с ними, с вещами. Я сам все перетаскаю. Не прикасайся ни к чему. Идите уже с Сашкой! Идите!

Таскал на себе, как тягловый конь, чемоданы и самовары, горшки и чугуны, коробки с рюмками и медные тазы для варенья – весь натюрмортный фонд короткой жизни. «Рисуй утварь, художник, рисуй. Но пуще всего – рисуй человека. И уже потом – ангела. И уже потом – Бога!»

За Бога-то тебя товарищ Сталин накажет, ой как накажет.

Коля вспомнил прием у Сталина. Запах трубки, что Вождь выбивал в малахитовую пепельницу. И то, как он, Колька Крюков, матрос-рулевой, считал у него на щеках и носу оспины: одна оспина, другая, третья. Ползут по лицу, как жуки; но даже оспины красят Вождя! «Выучусь – его портрет во всю стену накрашу!» Восхищенно глядел. Дыханье замирало. «Будэтэ учицца в Академии художеств! Будэтэ! Рэ-за-люццю даю! Дабро!» Перо бежало по бумаге, крупная желтая, прокуренная рука мотала в воздухе листом – сушил чернила.

Церкви нет. Бога нет. Сталин – есть.

А почему же тогда на всех на свете фресках – на всех холстах – на всех гравюрах – на всех скульптурах – Бог?!

Маргарита и Сашка поднялись на второй этаж только тогда, когда в телеге не осталось ни холста, ни подрамника Колиного. Они все-таки ослушались его. Сторожили сокровища.

И, когда Николай сел в телегу и взмахнул кнутом и крикнул, веселясь: «Н-но-о-о-о!» - и смиренная лошадка тихо тронулась в путь, уткнувшись грустной мордой в мрачную синь и жемчужную круговерть зимней ночи, на него сверху вниз, то справа, то слева, то с затылка, то, залетая невидимо спереди и маяча над лошадиной смиренной головой, стал кто-то пристально смотреть.

Он чувял взгляд. Он ежился. Оборачивался: атеист, впопуг пере-креститься! - но незримые зрачки не пропадали, изучали, хватали его на ходу, на лету, в движении торса, в пляске ищущей папиросу руки, втягивающих спасительный дым губ. Вместо румянца на щеки взошла мертвенная, снежная бледность. Он превратился в негатив. Негатив бросал летучую нежную тень на квадрат белой зимней бумаги, на оконный квадрат, на квадраты вологодских крыш, на квадраты выплывающих белый плотный дым труб. Негатив становился прозрачным отпечатком, и белую крепкую фотобумагу надо сейчас же, немедля, окунуть в ядовитый раствор, - чтобы мгновенно проявилось тайное, высветилось явное и бесспорное. То, что уже изменить нельзя никогда. Никогда.

Взгляд следил. Взгляд полз по снегу. Реял над головой. Забегал вперед лошади, светился впереди телеги. Ночь обнимала Николая, и страшно ему становилось, и счастливо. Кто эта черненькая девушка-врач с глазами-шмелями? Кто она ему? Никто. Какой мягкий каракуль ее шапки. Какие румяные щечки, так бы и съел.

«Ты все время хочешь все увиденное, встреченное съесть, схватить, обнять, смять, присвоить. Бросить на холст! Ты все хочешь запечатлеть! Все, что... полюбишь...»

Ночь светилась огнями окон и фонарей. Телега ныряла в ночь, в ее черную, звездную прорубь. Все ближе вокзал. Все пристальней, неотвратимей чьи-то небесные очи следят за ним.

И на фотобумаге постепенно, медленно и верно, бесповоротно проявляется его жизнь.

То, что только еще будет.

«Я брежу. Я спятил! Быть того не может! Я... вижу...»

Он видел – вместе с этими звездными глазами; видел – этими глазами.

Видел себя, в телеге по ночной Вологде трясущегося. Видел, как крепко и горячо, до тьмы перед зрачками, целует он румяную Ниночку, и воронье-черные ее волосы – шпильки упали на пол – искрятся, валяются на плечи, на пышную нежную голую грудь. Видел Ритино худое, молочно-белое лицо – лицо мученицы, сваренной в котле с кипящей смолой, голодной святой с иконы в разбомбленной церкви. Видел, как Нина хватается за живот и кричит надсадным басом, исходящим из нутра, из взорванного болю чрева: «Коля-а-а-а! Внематочная-а-а-а-а!» Видел отчаянные круглые глаза Сашки: «Папочка, а ты... навсегда не уедешь? Ты – только на один денечек?» Видел...

...девочку, удивительную девочку, она же глядела на него из черных бешеных туч, из ветра, из метели, из-за звезд.

...глядела, я видела все, вниз и вкось падали глаза, падали стрелами снега, порывами сырого дремучего ветра, снежными белыми пулями летели, время насквозь пробивали; и все проявлялись, высвечивались, восставали из мглы негативы, и вся жизнь светилась, плыла и плакала – родная, любимая, - единственная.

...во сне. Наяву.

...летела над ним, едущим по Вологде в пустой телеге, я летела, я знала, я видела, я любила.

И он, отец мой, вздернул голову, лицом, глазами пытался на шарить меня, его сопровождающую, в черно-синем, истыканном иглами звезд небе – на замазанном сажей и ультрамарином, широким, величиной с целый дом, а может, с целый город, а может, с целый мир, безумном холсте, - но не видел, не находил, а только чувствовал, и чувство вело его, озаряло путь, горело улыбкой, благословляло меня – его руками, билось в мое сердце – его сердцем; я билась у отца под сердцем, я видела его сердце – небесным рентгеном - сквозь черно-белые зимние ребра, сквозь железные ребра войны и железные рельсы далеких дорог, и вагоны эшелона

Старые фотографии

нов, и холсты музеев, перед ними, холстами чужими, он вставал на колени, копируя их, - но свою жизнь, отец, ты должен писать сам; это не копия, подлинник это; подлинная кровь и подлинная любовь; настоящее предательство и прощение – настоящее; и ты напишешь; и я знаю это; и я вижу.

...тебя вижу. Я тебя вижу.

...и как шевелятся твои губы, вижу.

...ты шепчешь мне...

Вокзал показался из-за поворота. «Тпру-у-у-у!» - крикнул Коля лошадке, и покорно встала она. Крестьянин, хозяин лошади, сидел в ночном привокзальном чепке, беленькую вкушал. Коля выпрыгнул из телеги. Стоял с лошадкой рядом. Закинул голову. Зрочки по небу жадно шарили. Он хотел увидеть. Узнать. Звезды вспыхивали, сталкиваясь с его глазами. Так вспыхивают снаряды, попадая на ют линкора. Так вспыхивает краска, зачерпнутая кистью с палитры. Еще не мазнул по холсту, и вот этот миг – пока несет к белизне полную крови и света кисть – самый огненный, тайный. Никого. Тьма. Вечная тьма живая, горошинами ледяного света усеянная.

Вот он стоит на белом квадрате плотного снега. Живой и настоящий. И фонари горят перед рассветом ярче, безысходней. И шепот на морозе разносится далеко, далеко. Осыпается из губ, как мелкие льдинки, осколки.

- И я тебя вижу.

НА КЛИЕНТА

Алексею Тимофеевичу Зайцеву

День по погоде выдался редкий. Совсем не мартовский. Солнце светило прямо по-летнему. Особенно это чувствовалось в среднем зале. Толстые портьеры, всю зиму затягивавшие широкие окна и как бы отсекавшие ресторанное тепло и уют от уличного холода, слякоти, теперь были раздвинуты, свёрнуты и походили на водосточные трубы, прислонённые к стене. Лёгкие тюлевые шторы рассеивали свет, но из щелей между полотнищами, сквозь серую паутину пыли витринного, еще немытого стекла, он бил плотными брусками, словно выдавленный из тубы. Бокалы и рюмки на столах с тяжёлыми льняными скатертями посылали в зенит озорные блики. Даже от ножей и вилок умудрялись взобраться так высоко и теперь легкомысленно пятнали выступы и впадины благородной старинной лепнины. Блики, будто живые, дышали: то проступали ярче, то приугасали. Среди них, светлых, желтела на потолке тусклая полоска – от обода барабана, оставленного музыкантами.

Сонная, одуряющая тишина стояла и в других залах.

До жаркого вечернего оживления было ещё далеко, и потому, казалось, люди, чьими усилиями создаётся для посетителей комфорт чревоугодия, – все они сейчас ещё по домам, в постелях. Но это было не так. На кухне начинали затемно. Начинали с приготовления холодных закусок, сложных подлив и кремов. И потому оттуда иногда доносился слабый звук посуды, басовитый скрежет противня, глухой удар мясницкого топора.

В стеклянные двери зала несколько раз уже просовывалась голова швейцара Булавина. Высокого, породистого, похожего на вельможу екатерининских времён. С большим носом среди круп-

ных розоватых складок на бритом лице. Вид этих складок напоминал Шатунову хромовый сапог Савельева...

Глаза швейцара, стоячие, обесцвеченные временем и позабывшие удивление, недовольно посматривали на столик в углу у стены, где ему должны были накрыть завтрак. Там ещё ничего не было, и Булавин по-медвежьи топтался в дверях, медленно соображая: то ли возвращаться на своё место, то ли идти к кухарям напомнить о себе.

Вот через зал своей летящей походкой, при этом не теряя подobaющего достоинства, устремился метрдотель Владимир Евгеньевич. Невысокий, гибкий, с маленькими прижатыми ушками на смуглом лице, с запавшими висками, к которым прилипли редкие тёмные волосы. Свежий, выспавшийся. Уже весь излучающий сдержанную энергию, необходимую всех и всё видеть, опекать растерявшихся, просто и непринужденно выручая их из маленьких неудобств, тактично и исчерпывающе давать рекомендации касаясь меню и карты вин.

Он бросил взгляд на столы, сервированные по дежурному. Придаться было не к чему. Щурясь от света, кивнул на приветствия Шатунова и Галайбы, стоявших у окна. Подмигнул им, но тут же посерьёзnel, увидел прямо перед собой летящую муху. С некоторым запозданием сделал несколько своих стремительных шагов, пытаясь сбить её салфеткой. Из этого ничего не вышло. Он остановился, осуждающе покачал головой, глядя на Шатунова и Галайбу. Шатунов пожал плечами, сказал только: «Тепло пришло, Владимир Евгеньевичем».

Метрдотель ещё раз строго окинул зал и вышел.

Они смотрели ему вслед, глубоко зевая, потряхивая головами, стараясь сбросить прилипшую сонливость. И когда сверкнула плоскость закрывшейся за Владимиром Евгеньевичем двери, пошли к себе.

Место это было за высоким барьером из декоративных досок. Доски поднимались вертикально, до потолка, и наискось. Отсюда зал хорошо виден сквозь щели между досками. Здесь же – стенки

с посудой и столовыми приборами. Высокая тумба с аккуратной хлебобрезной машиной. Небольшой белый столик, какой можно увидеть в любой домашней кухне. На нём – шахматные часы и доска с фигурами. То и другое со стола убирается редко. Иногда, к вечеру, когда становится шумно, они уносят шахматы и часы в комнатушку, где обычно переодеваются, отдыхают. Она здесь же, по коридору, ведущему во двор. С низким потолком правда, но уютная. Два диванчика, кресло. Старое, с полопавшейся кожей. Телефон, холодильник. Словом, есть где перевести дух.

Они вернулись к шахматам. Давно у них с доски не снималась партия Рибли – Каутли. Разбирать её было удовольствием. И не только потому, что она была признана кем-то лучшей из всех, иггранных тогда в Люцерне...

Дальнейшее, быть может, покоробит читателя, как слово «морда» в девичьих устах. Но что поделаешь? Наше время – коктейль сложный. Чего и как в нём только не понамешано...

– Не зря ребята прокатились в Швейцарию, – глядя на доску, рассеянно сказал Галайба.

Думал же о другом. Сегодня, при встрече, между ними опять пробежала чёрная... так похожая на ту, что у него дома. Но откуда она взялась? С чего?..

– Твоя сегодня дома ночевала? – хмуро спросил наконец Шатунов.

Галайба выдохнул с облегчением:

– Дома, – поднял голову и посмотрел прямо в лицо Шатунов.

Тот понял: не врёт.

Каждый из них когда-то давно переспал с женой другого. Но сколько раз? Странно, этот вопрос продолжал доводить обоих до белого каления в иную горячую минуту. Именно сколько, а не сам факт. Сам факт давно не волновал. В их кругу такое водилось. Не мудрено, когда у каждого в своё время перебивало столько чужих жён и ресторанных шлюшек. Так чего ж, казалось бы? Но вот поди ж ты. Опять этот глупый, тягостный для обоих разговор.

– Плюнь. Вернётся, – уже спокойно продолжал Галайба. – В первый раз, что ли? Опять, наверно, с Волубовской закатились к молокососам.

– Может, – остывая, произнёс Шатунов.

– Не понимаю – какого им рожна в них, – уверенно вел Галайба, словно свой «Судзуки». – Ни вида, ни профита. Сидят захребетниками на родительских шеях. Полтинник в кармане, а гонору как у лорда. И в постели... бойцы, что ли? Лечь не успел, как распаялся...

Галайба и сам не замечал, что перегибает палку. Переводя так стрелки, думал он о том, как нашёл Шатунов свою Тамарку. Нашёл, как водится, на стороне. В чистом поле. Понятное дело, почище искал. И нашёл. Но по привычке попёр нахрапом, без сантиментов. Думал, так, эпизод, трали-вали. Да не тут-то. Вошла она в него занозой. Не ожидал он такого оборота. А она, когда разобралась, что к чему, какой лещ на крючке, начала отыгрываться. Нещадно. Так что нечего теперь с больной на здоровую...

Галайба стоял опершись кулаками о стол, опустив на грудь тяжёлую подкову подбородка. Короткая шея словно четырёхгранник, торс – атлета. Всё это не только от мамы с папой – физическая накачка была видна. Чем только не занимался он в недавнем прошлом – от культуризма до каратэ и конфу, – этот неудавшийся журналист, позднее мечтавший стать каскадёром, а ставший тем, чем стал. Из постоянного тренинга он вынес и дешёвенькую привычку следить за собой как бы со стороны: насколько мужественным и сильным выглядит он в глазах окружающих. Вид-то был впечатляющий. Да вот только не было той кошачьей мягкости, какая была у Шатунова. Той реакции не было. Её не сразу-то разглядишь. В контактной драке только. Да что там... Взять их руки. У него, у Галайбы, они мускулистые, перевитые тросами вен. Такими кочергу в узел завязывать. Но вот начнут другой раз крушить кирпич рёбрами ладоней, и тут становится ясно, что почём, чего стоит узкая ладонь бывшего технаря итээровца Шатунова. С виду не подумаешь. Особенно если эта ладонь с вытя-

нутыми пальцами выстрелит. Нет, о чём-то подумать, может, и успеешь. Что-то придёт в голову, когда глянешь в глаза Шатунова. Широко расставленные по обе стороны узкого длинного носа, начинающегося где-то на лбу у самых сросшихся бровей, ровного, словно отчёркнутого по линейке. Когда глянешь в эти глубокие глазницы, похожие на совиные кратеры, на дне которых светлые немигающие зрачки. В них только и успеешь прочесть: «Всё!» Если успеешь... И никаких следов волнения на бледном вытянутом лице. Только припухлости побелевших ноздрей затрепещут, как раздувающиеся змеиные капюшоны...

Сейчас Галайба с удовлетворением отметил боковым зрением, как ноздри Шатунова дёрнулись несколько раз и – опали. Только теперь до него дошло, что он перегнул палку, но что, похоже, всё обошлось. «Может, сыграем?» – предложил он, расставляя фигуры. Сказал так, без всякой надежды хоть этим отвлечь Шатунова. Собственно, какая игра днём? Да и вообще они всё реже играют между собой. Ну, так, вечером. Трёхминутный блиц для прочистки мозгов, в самый разгар работы. И то – разок в две недели. Раньше-то частенько игравали. Под интерес, конечно, на сухую – не водилось. В минуты, когда всё вокруг стремительно вертелось, а в карманах шуршало всё гуще. Играли на «варёные раки», «сирень», «патину», а то и на «песочные». И удалство было не в том, чтобы на скоростях выиграть полусотенную, а уж если проиграть, то тут же её и вернуть. Не за доской. Ох, и повертеться надо тогда вокруг шумных весёлых столов...

Был ещё один вариант игры. Совсем редкий. Дневной. Когда скука смертная. Или со срыва – тяжкого похмелья. Тогда пот высыхал на закаменевших лицах, а нижние веки мешками оттягивало, как у лётчиков-реактивщиков на виражах. Деньги-то что!.. Как приходили, так и уходили. Уходили-то, ох, как легко! А приходили?.. Погоняйся-ка за ними. Тут и ухо остро держать надо, и силёнку в форме. И потеть. Много потеть. К концу смены чувствуешь себя уже загнанной лошадьё. Тут волей – неволей подстегнёшь себя глотком адовой смеси. А не то – трёхминутный

блиц на «сирень» или «патину» под гремящую музыку, под низкий хрипящий голос Наташки Волубовской, и – можно дальше. До упора...

Попробуй вырвись из этого водоворота... Когда-то родители Галайбы полагали, что дали сыну приличное воспитание. Отец – преуспевающий газетчик с литературным уклоном – занимался рецензированием книжных новинок, освещением читательских конференций. Галайба рос в окружении умных книг, и до самого его поступления в Университет, до самого того дня, когда его вышибли оттуда, родители всё ещё уповали на благотворность этой атмосферы. А своеобразный интерес к книжному богатству дома проснулся в нём не сразу. Сначала ему нравилось просто давать книги приятелям на прочтение. Особенно такие, которые отец считал ценными. Делал он это со всей ребячьей щедростью. Доставляло удовольствие читать в глазах школьного товарища благодарный восторг. Со временем, когда стало не хватать карманных денег, бескорыстное мальчишеское великодушие угасло, сменилось желанием поиметь с этого. Начал поторговывать. Чем дальше, тем с большим знанием и толком. Сказалась атмосфера умных книг... Отец делал ему строгие выговоры, не скоро обнаружив очередную пропажу, но жене говорил с глазу на глаз: «Вот чертёнок! Предприимчив, как отпрыск Моргана. В жизни не пропадёт».

Даже умению заручиться поддержкой сильных научили его всё те же книги. Будучи в третьем классе, он как-то принёс в школу «Декамерон» Бокаччо. После уроков, заманив кое-кого из семиклассников в укромное место под лестницей, зачитал им несколько страниц. Вот была ржачка!

Через день собралось столько желающих послушать, что пришлось искать другое, более надёжное место. А в тот день, когда был открыт этот способ приобретения авторитета, он на радостях гасил камушками лампы, бесхозно горевшие в подъездах среди бела дня...

Теперь у Галайбы второй кооператив. Первый пришлось оставить предыдущей жене. Есть и дача. С большим яблоневым

садом. Лишь заголосят первые ручьи, как оголтелыми мичуринцами начинают орудовать в нём многочисленные родственники. Родство с половиной разработчиков фруктовой жилы было сомнительным. Но Галайба закрывал на это глаза, видя, как любуются, как ставят в пример двоюродным и троюродным племянникам его умение жить... А просторный гараж с «Жигулёнком» и «Судзуки»? Галайба предпочитал мотоцикл. Потрёпанный «Судзуки» достался ему случайно, по ходу жизни. Квартирный маклер искал надёжного юриста. Галайба нашёл, а за услугу получил этого, как он выражался, «зверёныша». На станции технического обслуживания свои ребята его подлечили, довели до звериных кондиций и вернули ему лоск новья. Небрежно сидя в седле, Галайба видел себя с тех пор не рокерской шушерой, а парнем, олицетворяющим престижный демократизм. Ах, как здорово смотрелся он со стороны! Казалось, съезжал на своём «зверёныше» с глянцевої картинки «Плейбоя». И кто бы мог подумать, что подтачивают жизнь железного парня такие банальности, как жена и кошка.

Жена, как это ни странно, была родом из глухой деревни Новгородской области. Мать её, когда-то закончив семилетку, хотела учиться дальше, в техникуме. Надо было ехать в город, но не дали паспорт. Так и осталась она работать в колхозе. Когда же подросла дочь, сказала ей: «Теперь хоть ты уезжай. Теперь можно. Я за себя и за тебя отломала. Ты, девка, хваткая, пристройшься. Да хоть на завод какой, на фабрику, на учёбу какую. Там, глядишь, и суженый на тебе споткнётся. Авось, будет не чета нашему забулдыге, бревну...» И дочь ринулась навстречу судьбе.

Сначала был Новгород. Город принял её равнодушно, как и многих других таких же. Новая, неожиданно суровая жизнь с ног не сбила. Она впитывала её, как губка. Не успевая переварить впечатления, осознать их. Стараясь лишь поскорее избавиться от всего того, что выдавало её принадлежность к деревне. Даже с ярким здоровым румянцем на щеках в конце концов сладила.

Потом были другие города.

Где только не привелось ей работать и жить. Жить снимая углы у замшелых старушек коммунальных квартир, в бойких скандальных общагах, у подруг, временно оказавшихся без родительского глаза. Со временем росло в ней ощущение, что город её не раздавит (не на ту напал!), что он уже давно признаёт её своей. И уже пробираясь к выходу по вагону метро, наткнувшись на женщину с обветренным лицом, в толстой плюшевой кофте, с двумя набитыми сумками, перекинутыми через плечо, могла с совершенно искренней неприязнью процедить: «Встала, раскорячилась, дурёха сельповская...»

Воспоминания о доме не умиляли, а раздражали: она их стыдилась. Своим писала всё реже. Коротко: «Живу хорошо. Чего ещё писать? Некогда. Да и не поймёте вы там ничего. Опять ты, мать, про то же. Без мужа-то? Да и не будет у меня ребёночка никогда. Хоть бы и хотела...» И однажды, выводя на конверте: «д. Сапляевка», вдруг разревелась от одного этого слова. Слезы текли по щекам, мешая тушь с другой косметикой, пальцы с яркими ногтями рвали письмо. Больше она не писала...

Галайба и сам уже не помнит, когда его жена, теперь уже хрупкое, поразительно рассеянное существо, вечно оставляющее ключи снаружи в дверях (и как их только до сих пор не грабанули?!), когда его жена помешалась на диетах, от чего стала совсем плоской и узкой. Галайбе виделась не жена, а чайная ложка. Хоть сейчас ставь в стакан, и можно размешивать сахар, не выплеснув на скатерть и капли. Добро бы одни диеты. А тут ещё и система Брегга, ворожеи, гадалки, специалисты по биополям. С широко раскрытыми глазами она шарахалась от одних кликуш к другим. Неделями пропадала у каких-то психологов и гипнотизеров, практиковавших на дому. И каждый раз приносила новую идею, по которой мир до сих пор не развалился. И как же раздражало Галайбу то, что она не замечала: свежая идея напрочь перечёркивала предыдущую свежую.

Что же касается кошки, то это был тощий невзрачный зверёк, мучимый каким-то внутренним недугом. Кошка почти ничего не

ела; брезгливо отворачивалась от птичьего молока и лишь изредка потребляла студень «Дорожный». Продукт сомнительного качества из домашней кухни по сорок пять копеек за килограмм. Жена говорила о кошке, что это «Физиологическая ветвь её существа», что даже их души «Закольцованы спонтанными биополями». «Её надо вылечить, – говорила она, – тогда и я обрету импульсы незатухающей молодости». Что было делать? Каких только светил ветеринаров не приглашал Галайба. И каждому надо было отстёгивать пропорционально свечению. А толку-то?..

К гадалкам-астрологам, к психологам и гипнотизёрам жена таскалась обычно с кошкой. Но как-то, вернувшись с директорского приёма, он застал в квартире одну кошку. Взглянул на неё, и омерзение с такой силой перехватило горло, что он схватил несчастное существо и швырнул в мусоропровод. И пока он, стоя на лестнице, прислушивался к доносившемуся шороху, в голове его крутилось: «От ветеринаров хотя бы отцепиться...» Через час его уже знобило. Он ждал грозы. Но странно. Откуда-то вернувшаяся жена, в упор не замечая ничего вокруг, прошествовала на кухню. Выложила на стол семнадцать зёрен ржи и стала раскладывать из них пасьянс по лишь ей известному принципу. За этим занятием она провела всю ночь. Правда, один раз часов в десять вечера, она вошла к Галайбе. Тот сидел тихим мышонком у телевизора. «Выключи, – сказала она. – Мало тебе рентгеновских лучей? Ведь говорила тебе о флюидах. О тех самых, что негативно влияют на спинной мозг...» Сказала и ушла к своему пасьянсу.

Гроза грянула на другой день. Дворничиха принесла кошку. Что тут было... Жена вытащила колоду сберегательных книжек из пальмового ларца, некогда подаренного Галайбе специалистом по антиквариату. Вытащила и устроила ему сцену у открытого окна. С той лихой отчаянностью, с какой когда-то покоряла города и Галайбу. С криками, с угрозами выкинуть за окно седьмого этажа нажитое Галайбиным потом и изворотливостью. И это при том, что половина книжек была на её имя. Сама она швыряла деньги налево и направо всяким психологам и астрологам. А в иную

безоблачную минуту говорила ему вздыхая: «Коровушка ты моя трудоёмкая, что бы я без тебя делала? Завтра пойду в сберкасса подою тебя. Можно?» Спрашивала вкрадчиво. Галайба был готов её задушить за одни эти слова. Сколько раз он уже проделывал это железной своей клешнёй, но мысленно...

Раньше ему хотелось иметь детей, не было у него их и с другими. Она отговаривалась: «Не хочу». Или вдруг говорила в ответ: «Галайба, ты потенциальный убийца». – «Какой же я убийца?» – спрашивал он растерянно. «Ты хочешь, чтобы твой ребёнок дышал отравленной атмосферой? Ведь всё кругом давно отравлено! Даже этот пол на кухне чёрт знает из какой химии сделан, а мы дышим. И вот ты хочешь, чтобы твой ребёнок был обречён на медленную смерть. Сознательно хочешь!»

Один бог знает, чего стоило ему терпеть под боком этот хрупкий, ранимый цветок, чем только не отравленный. Но он терпел при одной мысли: строить ещё один кооператив теперь бы ему было хлопотно и утомительно...

У Шатунова – тоже не легче. У того жена, как он сам говорил в минуту благодушия, «гуляющая на музыкальную ногу». Вечно пропадала в каких-то компаниях и компанийках сосунков меломанов. Взрослая, мать двоих детей, а водилась с подростками шпингалетами. Собирались они не в каких-нибудь престижных приличных квартирах с солидными стереомагнитофонами, а в подвалах, на чердаках. Там сначала для глубины кайфа накачивались сухим вином, извиваясь и дёргаясь в такт музыке, сочившейся в уши из красивых ящичков, торчавших из карманов или болтавшихся на шеях. Кое-кто покуривал, кое-кто понюхивал стимуляторы. Всё для той же глубины кайфа. Притомившись, затевали спор по поводу достоинств той или иной рок группы. Понятное дело, доморощенные, такие, как «Слепая нога», «Курица снеслась!», «Пуля в висок» были у них не в чести. Даже известная своими скандалами и эпатажем «По нервам!». Спор походил на базар и заканчивался руганью между собой и беззубыми стычками, когда с визгом, побабьи вцеплялись в кудри друг другу, норовя исцарапать лицо...

Несмотря на всю эту ухабистую совместную жизнь, они были крепко повязаны друг с другом. Чем? Детишками? Во всяком случае, когда Шатунову приходило в голову, что в один день или вечер он увидит мать своих детей наркоманкой, у него деревенел затылок.

А детишки у них – мальчик и девочка. Близнецы. Спасибо матери, бабке Шатунова – вынянчили, подняли – уже второклассники. Когда исчезает жена или заболевает кто-то из ребят, он отвозит их к матери. И торопится уехать. Уж очень ему не по себе там, дискомфортно. Несколько минут с глазу на глаз с такими чуждыми ему, но родными по крови людьми, – и те в тягость. Обе молчуни. Ни в чём его не упрекают, не учат жить, но смотрят такими глазами... Столько в них боли и сострадания, что Шатунов начинает тихо ненавидеть: «Дуры старые! Меня? Нашли кого жалеть!..» Он привозит кой-какие тряпки, продукты, но это не вызывает у них ни радости, ни благодарности. От такого безразличия к знакам внимания с его стороны он сатанеет. Потом охлаждает себя мыслью: «Фанаты. Пусть доживают. Эта порода уже почти на свалке...» Но крепка была порода, если и на измор и на излом выдержала, выстояла, чтобы и теперь еще укором маячить в чьих-то глазах...

Бабка Шатунова оставалась в блокадном городе всю войну. Муж её погиб в первые дни на Западной границе. Получилось так, что мать Шатунова, тогда маленькую девочку, в суматохе, вместе с другими детсадовцами, эвакуировали. Бабка узнала об этом, когда машина с детьми была уже где-то у Ладоги. Бабка осталась. Всю войну она проработала на хлебобраздаточных пунктах. Нарезала, взвешивала пайки и осторожно переносила их в протянутые ковшиком руки. Сама была при хлебе, но ни разу не положила себе в рот куска большего, чем нарезала другим. Так и простояла она всю войну с острым ножом над буханкой... Бабка об этом не рассказывала. Рассказывала мать. Говорила, что бабку очень ценило начальство. А та всё боялась: вот снимут, вот переведут на другую работу. Чего боялась? Боялась, что на её место

поставят другого. А у другого, может, и нож будет тупей, и глазомер свой... За самые великие подвиги награды не дают. Потому что совершаются они при единственном свидетеле: собственной совести.

Совсем маленьким, Шатунов верил рассказам матери. Но потом – всё меньше и меньше. И уж чуть позже, бывало, дразнил, приставал к бабке: «Ну, сознавайся, вот такой вот кусочек, – показывал кончик мизинца, – сшамала хоть разок-то? Сшамала, по глазам вижу». И теперь, когда привозил ребят к ним, когда ненароком встречался с теми самыми бабкиными глазами, видел: было так, как говорила мать. Было... И как же это его бесило: понимать, что такого быть не могло, и чувствовать – было. «Узколобые фанаты...» – цедил он тогда про себя.

Его раздражение переходило и на детей. Уж как-то не очень радостно принимали они его дорогие подарки. «Заелись, – зло думал. – Да и бабулю, видно, настраивает». Думал так, хотя отлично знал: никто никого не настраивает. Знал: для них его дети – последний свет в окошке.

А уж он-то старался ради этого света. По-своему, конечно.

Учились дети в разных классах. Просил Шатунов и дипломатично, и с грубым нажимом, чтобы в один свели, всё-таки брат и сестра. Так оказалось, эксперимент какой-то научный проводят. Дети то и дело приносят домой полотенца тестов, разобраться в которых сам чёрт ногу сломит, – не то что папаше с высшим техническим образованием. И приходится Шатунову: в одной руке – торт, в другой – цветы, в зубах – билет в «Юбилейный» или на модную выставку, и – пошёл... плести кружева вокруг двух пугалиц. Одна – молодая, другая – пожилая. Угоди-ка обеим. Плюнуть бы, да мода какая-то пошла странная: непременно надо, чтобы дети на круглые пятёрки. Чтобы при случае вернуть: «А мои короедики ничего. Аж без четвёрок катятся...» Вот и приходится готовить базу под эти круглые. Пустячок, а требует сил, времени. Добро бы всего две учительницы. А то ведь и репетитор по музыке для дочки, всякие тренеры по плаванию и теннису – для сына.

Несть им числа. И на всех фронтах надо готовить базу. Видно, потому-то в теперешние времена более одного чада не заводят: хлопотно и накладно.

Не будь у Шатунова машины, давно бы отстал от жизни. А так – не хуже других лихачей. Шпарит по трассе с ними ноздря в ноздю. До момента, когда можно будет давануть на газок, рискнув, чтобы всюду успеть.

Да-а, детям надо давать. И всё больше. Они растут, растут, короедики... А давно ли им пятки обмывали?..

Запомнился тот жаркий денёк Шатунову. В тот самый случился и директорский приём. Начали на нём. Так, слегка. Пристойно. Потом-то, уж в другом месте раскрутился маховик гульбы. Широко, с расшвыром... Шатунов чуть не сгорел тогда от выпитого, едва отошёл потом. Вот уж был срыв. Может, самый мажорный в его жизни. И неизвестно, чем бы всё кончилось, если бы Сытин и Галайба не отвезли его вовремя на дачу...

Мчались по расхристанной от осенних дождей просёлочной дороге. Каскадёр – за рулём. Гнал не жалея своей машины. В кабине гремели гитарным перебором до предела натянутые нервы Высоцкого. Орал и Галайба: «А у дельфина взрезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто!..» Так и доехали. С песнями. Обошлось. И не бросили они его одного, не уехали, хоть у каждого дел было по горло. Ночевали с ним. Почудили, правда... Достали из чулана старый чёрно-белый телевизор и поставили вместо цветного. Шатунов, чуть пришёл в себя, глянул на экран и похолодел от мысли: «Напосудился до точки...» «Изображение цветное?» – всё же спросил. Спросил, клацая зубами. «Конечно», – ответил Сытин. «А у меня в глазах всё синё...» – «Хрен с ним, – спокойно сказал Сытин, – свезём в один тёпленький дурдомик. У меня там свой человечек. Мастер соскочивших ставить на катушки. И тебя поставит в лучшем виде».

Шатунов нашарил тяжёлую бронзовую пепельницу, предназначавшуюся для «варваров» – курящих гостей; сами они давно бросили «дурную привычку». «Ну уж нет!» – сказал он, швырнув

пепельницу в «ящик». В экран не угодил, но свет погас. «А так интимнее, – сказал Галайба, оставаясь сидеть в кресле. – Провожу экспресс тестирование: Валера, вот мы благополучно отдыхаем у тебя на даче. Тепло, уютно. Темновато, правда. А не кажется ли тебе, дорогой мой, что твоя дача находится в Ялте?» – «Пошёл к чёртовой матери!.. Свет давайте, делайте!» – огрызнулся Шатунов. «Старик, – поехал Сытин в ту же сторону, – отчего бы тебе и в самом деле не отгрохать дачу в Ялте? Да такую, чтобы патрону дорогу перебежать?..» – «Свет, скоты, давайте!» – заорал Шатунов.

Не сразу кто-то поднялся из них. Поднимаясь, задел низкий столик. Раздался звон стекла, и в комнате вдруг почувствовался слабый нежный аромат осенней прелой листвы, запахло грибами. «Такую закуску опрокинуть», – с сожалением сказал Сытин.

Странно, этот грибной запах так и остался в памяти Шатунова явственным, не улетучиваясь...

Крепкие же у них были нервы тогда. Особенно у Сытина. Настоящий минёр. Он работал в «Вишнёвом» – в верхнем маленьком зальчике. Обслуживал тузов, избегавших лишних глаз. Административных и хозяйственных шишек, воротил продовольственных и комиссионных магазинов, высокую интеллигенцию. Особого профита это место не давало. Многое зависело от того, как повернётся настроение у гуляющих. Стоило кому-то из них, повертев счёт, бросить: «Дороговато» и – прощай работа. Сколько их погорело до него. Мелочно-жадных, недальновидных. Сытин же здесь за деньгами не гнался. Изыскивал другие, окольные пути. «Бизнес» был неконкретный, почти беспроигрышный и назывался у них «беспорочный». Скажем, торговля информацией, сведение нужных друг другу людей, доленое участие в их операциях и т.д. За непрофитность же места Сытин отыгрывался морально. Разогретых подопечных (он называл их зайчатами) потчевал разбавленным коньяком. Зайчата толк в коньяках и винах знали, и потому дело было очень рискованным. Но он шёл на это из одного желания не чувствовать себя до конца «нанятой

шестёркой», «половым». Из желания какого-то глупого реванша. Потом, спустившись вниз к Шатунову и Галайбе, говорил с невозмутимым лицом: «А мой-то зайчата цейлонский хлебают. Да, знай, ещё и нахваливают: «Фоль бланш, фоль бланш...»

Сытинский отыгрыш, напоминавший детскую фигу в кармане, сходил ему с рук. Похоже, даже проницательный Антон Михайлович – директор – и тот не догадывался. Во всяком случае, ни на одном из своих приёмов не было тонких намёков с его стороны.

А собирались они на директорский приём по его сигналу. Собирались редко, узким кругом и, как многим казалось, стихийно. Несколько особо приближённых официантов, метрдотели, главный повар Судец, бухгалтер Бакшеев, старший экспедитор Дурдин, ещё три – четыре человека. Антон Михайлович проводил такой сбор под флагом: «Посмотреть в глаза сослуживцам». Мол, не зарвались ли? Не пора ли потерявших форму, уставших, потихоньку начать удалять, чтобы потом списать на берег? А кому-то из рачительных, добросовестных помочь... Словом, естественная ротация кадров.

Это он, Антон Михайлович, устроил когда-то жён Шатунова и Галайбы на работу, на которую и ходить-то надо было раз в месяц – за зарплатой. Правда, половина денег отстёгивалась в неизвестный фонд... И как же надо было быть начеку под пронзительным взглядом Антона Михайловича, чтобы не теряя лица, оставаться у него в фаворе. Если он кого-то не приглашал раз, другой, третий, это означало, что на нём ставится крест...

А начинался директорский приём с вялого разговора о тяготах работы, о мелочных неувязках, мешающих повышать показатели. Говорили, не вникая в суть слов, будто по какому-то языческому ритуалу пускали мыльные пузыри. Мол, ты – один, а я – два пустил. Ты – такой, а я – вон какой: под потолок поднялся и не лопнул. А какой красавец! Так и переливается...

Уютный кабинет, наполненный радужным лукавством мыльных пузырей, создавал атмосферу, сблизившую присутствующих. Смягчалась радиоактивность снайперских глаз Антона Ми-

хайловича. Возникало чувство крепкой притёртости друг к другу, чувство стайности. А то главное, что составляло суть их хищной борьбы за место под житейским солнцем, то, что ещё более сплачивало их, – это только витало над ними и было невидимым, как воздух между цветастыми пузырями. Разговоры о нём, о главном, были неуместны здесь, неприличны. Каждый читал в глазах другого: «Жизнь – борьба, проигрывает – слабый. Среди нас слабых нет...» В такой обстановке естественным было выпить по бокалу шампанского, открываемого без вульгарного парадного грохота. И уже в глазах Антона Михайловича гасла прокурорская неотвратимость, а на гладких восковых щёчках, похожих на фруктовый муляж, появлялись добреньки старческие ямочки. Появлялись в минуту, когда с бокалом в руке к нему приближался Сытин. Приближался с удивительным чувством меры достоинства в сдержанных движениях. О, подавать себя – Сытин умел. Уж он-то знал – стоеросового угодничества Антон Михайлович не терпел, считал таких людей узкими, ограниченными и непригодными для настоящей работы.

Сытин приближался чокнуться с патроном. И как всегда, случилось неизменное маленькое чудо: раздавался мелодичный звон хрусталя, и у всех на глазах краешек бокала Сытина вдруг от удара обламывался и плавно валился на дно, в белую гущу газовых пузырьков. «Вот сукин сын – восхищённо восклицал Антон Михайлович. – Как это у тебя получается?» – «Сие остаётся тайной и для меня», – смиренно потупившись, отвечал Сытин.

Полагали, что он заранее подпиливает краешек бокала алмазиком перстня. Но подготовительной работы никто никогда не видел.

Фокус Сытина приводил Антона Михайловича в чудесное настроение.

Верхом интимной расположенности к окружающим было его доверительное: «А что, братцы, снесу-ка я в Ялте тёзкину избу-читальню? На её месте поставлю свою. Таковую, где не стыдно будет провести закат жизни. И пусть на огонёк по старой памяти

заходят бедные туристы и богатые иностранцы. Всех без разбору буду принимать хлебом-солью. В Мелихово-то или куда там ещё ведь не скоро доберутся...»

И когда вокруг туманно улыбались, покачивали, понимающе, головами, Антон Михайлович заливался мелким скачущим смехом: «Да, ладно! Шучу! Уж больно в хороших местах оказываются у нас эти реликтовые дома-усадыбы...» Потом неожиданно серьёзней лицом, прикрывал глаза пальцами белой пухлой руки, говорил: «А ведь смог бы. Эх, смог бы, ребятишки...»

Может, Антон Михайлович переоценивал свои возможности. Но никто из окружающих не знал им предела. Не знал предела ловкости и изворотливости своего патрона, в войну командовавшего подводной лодкой, избегнувшего стольких опасностей, ушедшего от стольких погонь. И потому даже у них, у бойцов, от его слов пробегали мурашки...

...Шатунов играть отказался. Галайба снова поставил на доске партию Рибли – Каутли. Ему вдруг показалось, что у белого слона есть иной вариант продолжения. Он начал высказывать Шатунову свои соображения, но тот смотрел на доску, занятый своими мыслями.

Солнечный свет, пробившись сквозь доски-жалюзи, ровными вертикальными полосами желтел на «стенках» с посудой. Даже на щеке у Галайбы была такая же, но он не отклонился, не отдвинулся, только зажмурил освещённый глаз.

– И к кому она могла закатиться? – хмуро произнёс Шатунов. – Рёбра бы тому пересчитать.

– Брось. Никуда они не денутся. Что моя швабра, что – твоя. В первый раз, что ли? А может, в Сочи сорвалась?

Шатунов откинулся на спинку стула.

– Да нет. Скажешь тоже. Юрка у меня заболел, у старух сейчас... Да и кто там в это время, одно старичьё?

– Э-э, да нам работа подвалила, – вдруг оживился Галайба, перебивая, и показал глазами.

Они увидели за столиком в углу у окна парня.

– Ты заметил, когда он сел?

– Нет.

– Ладно, пойду-ка покормлю, – Шатунов был рад возможности отвлечься. Потянул смокинг, висевший на спинке, поправил бабочку. Спросил глазами Галайбу: «Как?» – «Порядок», – кивнул тот.

Он перекинул на левую руку салфетку, вышел.

Пересекая зал, уже автоматом определил: Залётный. Правда, старается держаться уверенно, спокойно. Но нет-нет да посмотрит по сторонам с такой почтительностью, что всякий на месте Шатунова рассмеялся бы. Чуток есть: не по себе человеку. И ещё было видно, что парень из тех, кому подсажи, как правильно перейти улицу, так он навечно зачислит тебя в сердечные друзья. Так на лице его это всё и написано.

– Здравствуйте.

– День добрый, – парень ещё издали кивал головой, улыбался. И в глазах его было: «Вот уж спасибо! Вовремя подошли, прямо спасли...»

В ответ Шатунов всем своим видом излучал понимание, сочувствие и высшую предупредительность.

Парень таял в тихой благодарности.

– Откуда к нам? – утепляя улыбкой глаза, спросил Шатунов.

– Издалека. Ой, издалека. Из Виллойска! Слыхали?

– Далеконько же отсюда, – говоря это, Шатунов быстрыми, ловкими движениями касался обеденных приборов, зорко вглядываясь, всё ли путём. Поправил салфетки, скатерть, на которой чуть топорщились углом длинные стрелки от утюга. Даже на ободки фужеров и рюмок посмотрел внимательно, словно надеялся разглядеть на них след сытинского алмазика...

– Мостостроитель я, – заливался соловьём парень, ободряя себя и щелчком по спичечному коробку. Сейчас, в пустом зале звук этот раздавался гулко. – Сами спроектировали там у себя мостишко. Да вот не утвердить было никак. Ездили, ездили

– всё без толку. А сегодня на мне дело развязалось. И знаете, удачно. Вот везу домой подписанный проект, – парень взял с соседнего кресла чёрную кожаную папку на молнии, повертел её в руках.

– Поздравляю с победой, – Шатунов скосил глаза к ногам парня. – А этот пакет ваш?

– Да, мой. Дочке кроличью шубку тут отхватил. Представляете, без всякой очереди. Повезло. В общем-то я везучий... А с пакетом меня швейцар пропустил. «Ладно, – говорит, – ступай. Там сейчас пусто».

– От вас – соболя, а от нас – кролики? – усмехнулся Шатунов.

– Так получается, – рассмеялся парень, обнажив крепкие белые зубы. – Впрочем, зачем ребёнку соболя, – только портить.

– Не скажите... А мосты, простите, какие? – спросил вдруг Шатунов, теперь уже внимательно разглядывая парня. – Железнодорожные?

– Да.

– Средние, неразрезные?

– Точно.

– Арочные? Рамные со шпрингельными решётками?

– У нас чаще рамные, с треугольными... А что, доводилось иметь дело?

– Просто на вашем лице это всё написано. А у нас глаз. Намётанный.

– О, уважаю! Уважаю профессионализм, – парень вскинул обе руки, сдаваясь. На тёмных рукавах пиджака Шатунов увидел светлые пылинки, явно гостиничного происхождения.

– Да уж, нет хуже дилетантства. А какой заканчивали?

Парень назвал.

– Так что прикажете подать?

– Ну... приказывать... – парень смутился, уши его зарозовели. Он держал меню в толстой тяжёлой обложке. Глаза его явно разбежались. – Я уж вас лучше попрошу...

Шатунов не отозвался.

Парень водил пальцем по строчкам, отыскивая хоть что-то знакомое.

Стоя над ним, Шатунов с некоторым сочувствием думал: «Головушка... Проломить волынщиков в проектном – нипочём, а сушенику выбрать, так на макушке волосики шевелятся...»

– Прямо не знаю, – растерянно развёл руками. – Уж вы подскажите, пожалуйста. По-дружески. Знаете, студентом – не на что было. А потом – в такие райские кущи не заносило, – и столько было покоряющей мальчишеской неотразимости в его мольбе, что узкие губы Шатунова дрогнули.

– Пожалуйста. Из холодного советую миноги маринованные. Хороши. Затем консоме по-бретонски.

– Консоме? А что это такое? Консоль – вот знаю, а консоме...

Шатунов понимающе кивнул.

– Ну, как вам... Консоме – блюдо французской кухни, горячий прозрачный суп. Основа – бульон из говядины. Годится?

– Любопытно. Попробую. А на второе?

– Свиные розеты возьмите.

– А это что за зверь?

Шатунов объяснил.

– Фрукты, водичку минеральную, кофе?

– Да уж на ваше усмотрение. Знаете, проголодался. Шёл мимо, увидел вашу шикарную вывеску, зашёл. Осмелел на радостях, что дела с плеч. Уже и с Вилуйском переговорил. Поразительно, слышимость великолепная. А может, дело в том, что я везучий? – опять залился соловьём парень, на сей раз в явном предвкушении еды.

Шатунова начала утомлять эта обаятельная простецкость. Он поджал губы, и с лица его исчезла маска радушия.

– Как насчёт коньячка? «ОС», правда «Самтрестовский».

– Добро.

– Грамм пятьдесят, сто?

– Последнее число – годится! Простите, как вас звать?

– Валерий.

– Спасибо вам, Валерий, – парень признательно коснулся локтя Шатунова.

– Не стоит. Посидите, я скоро.

Он пошёл, отдал заказ. И когда возвращался, услышал телефонный звонок. Слабый, из-за дверей их раздевалки. Поспешил туда, снял трубку.

– Привет, муженёк, – ударил в висок надтреснутый низкий голос. – Как ты там у меня, не дремлешь? Куёшь матбазу под семейное благо-го... о, чёрт!

– Ты дома?

– Теперь да.

– Почему опять лыка не вяжешь? Мы же договорились...

– Плевать! Тоже мне, Господь на Страшном суде. Знаешь, с кем я?..

– Заткнись!

В трубке раздался хриплый смех.

– Ты, дуrolомчик мой, небось всё на Галайбу грешишь. Ну, глупыха! А я ведь с твоим...

Шатунов бросил трубку и глядя на неё с омерзением, невнятно и грязно выругался.

Ноздри его тонкого носа дрожали.

Он вышел из комнаты, подошёл к столику с шахматами.

Галайба поднял голову и тут же отвёл глаза, догадавшись.

– Ну вот видишь, нашлась, – выдавил участливо. – И нечего скисать.

– Помалкивай, – кожа на скулах Шатунова белела, словно обмороженная.

Он медленно расставлял фигуры.

Взял коробку часов, установил на тех и других время. Галайба следил искоса, увидел: трёхминутка.

Потом Шатунов отнёс мостостроителю всё, что было готово. Вернулся.

Галайба ещё сомневался. Он вопросительно посмотрел на Шатунова, кивнул в сторону зала. Шатунов ответил коротким ут-

вердительным кивком. Но Галайба всё ещё колебался. Он сделал: кулак с большим отогнутым пальцем в землю.

– Да! – вспыхнул Шатунов.

Галайба снисходительно улыбнулся, мол, хозяин барин. Хотя, собственно, почему, на каком основании именно так разделились роли?.. Но у него не было уже никакого желания выяснять, а там и спорить. Он знал Шатунова, знал, что теперь бесполезно, и поплыл по течению, всё убыстряющемуся. В конце концов, ещё надо посмотреть кому выпадет. Он только спросил с угасающей надеждой в голосе:

– А разве сегодня Савельев?

Разыграли «белые» и «чёрные». Часы пришлось поставить под правую руку Шатунову.

Галайба сделал первый ход.

Сверху спустился Сытин. Хотел было за чем-то к ним обратиться, но увидел с какой торопливостью они давили кнопки часов, всё понял. Посмотрел в зал на смиренно жующего мостостроителя, покачал головой, подумал о нём: «Дёрнул тебя чёрт нарваться на их смену...» – и поспешил к себе наверх. В голове опять мелькнуло: «Сгорят, голуби. Когда-нибудь сгорят...»

Игра уже шла на флажках, когда Галайба получил мат. Это означало, что заваривать кашу придётся ему. Ему быть «хирургом», а Шатунову – «ассистентом».

– Передохни, – спокойно сказал Шатунов и пошёл докармливать мостостроителя.

Потом они сидели у столика, отвернувшись от шахмат. Сосредоточенные, хмурые, без той блаженности на лицах, с какой полагается пребывать в минуты аутотренинга. Они сидели, прислушиваясь к себе, всё явственней улавливая поднимающуюся из самых глубин утробы вязкую пену раздражения. Теперь она поднималась уже по подвластным им законам всё того же аутотренинга.

– Давай, – сухо и властно сказал наконец Шатунов.

Галайба поднялся, взял со стола книжку счётов. На верхнем листе рукой Шатунова было уже написано всё как надо.

Он вышел в зал.

– Приятного аппетита.

– Спасибо, – парень недоумённо захлопал глазами на подошедшего Галайбу, отрывавшего листок. – Вы... А меня...

– Покушали? – мягко остановил его Галайба, давая понять, что оснований для беспокойства нет.

– Да, спасибо большое.

– Тогда получите счёт, – Галайба положил перед парнем листок.

– Тот и смотреть не стал.

– Сколько?

Галайба назвал сумму.

– Пошиковал, – парень подмигнул Галайбе, полез в карман. Достал маленький трёпанный бумажник, вынул деньги, положил на стол.

– Хватит?

В тоне, каким это было сказано, Галайбе послышалась нотка пренебрежения. Даже высокомерия.

А счёт был оплачен. С лихвой. Но то, что ЭТОТ клиент не снизошёл до того, чтобы взглянуть на него, хотя бы для виду, из чувства такта, показалось Галайбе оскорбительным до унижения.

Так и пришёл он... тот самый градус, которого недоставало, чтобы пена раздражения закипела. Если минуту назад он подходил к столику с тупой вялостью во всём теле, подходил по призыву, из-под палки Шатунова, то теперь всё было иначе. В голове, казалось, открыли форточку для проветривания – там разгуливал холодящий ветерок. И даже во рту был освежающий вкус мятного леденца. Всё тело подобралось. Каждый мускул как бы снял предохранитель. Лишь тёмные зрачки в глазах налились омутной осенней тяжестью.

– Тут с вас за бутылку «Пшеничной», – он показал аккуратным полированным ногтём строку в счёте.

– Ну, скоророхи! – парень усмехнувшись, огляделся по сторонам: – С кем-то вы меня спутали. А вот с кем? – Добавил спокой-

но: – Фраера столичные. С утра заряжаться. Поищи свою бутылку на столе, где она?

– Прошу вас взглянуть на счёт, – невозмутимо произнёс Галайба.

Лицо парня стало серьёзным. Он сунул руки в карманы, вдруг по-хозяйски откинулся в кресле. Плечи его разошлись, закрывая широкою спинку, – теперь была видна их косая сажень. Он изучающе, пристально смотрел в лицо официанта, всё ещё готовый рассмеяться возможному розыгрышу. Но тот отвечал, не мигая, с вызывающей твёрдостью. «Мужичок-то не слизняк... – с удовлетворением отметил про себя, а потом, с нетерпеливой радостью: – Что ж, попробуем на зубок сибирскую косточку...»

– Вот что, приятель. Зови-ка своего дружка Валеру, или как там его. Разберёмся. Ну что стоишь, зови, тебе сказано.

– Простите, но он занят. Если вам будет угодно, то мы можем пройти к администратору.

– Идёт, – парень сунул деньги в карман, резко отодвинулся от стола вместе с креслом, пружинисто поднялся на ноги. Потягиваясь, взглянул на часы: – Эх, некогда мне с вами базарить, ну, да ладно. Веди, хмырь...

– Вы напрасно оскорбляете, я всё-таки на работе.

– Сейчас ты у меня станешь первым безработным в нашей бескризисной системе...

Галайба промолчал.

Они пересекли зал, зашли за перегородку.

Парень увидел Шатунова.

– О, Валера! А мне твоя шестёрка лапшу на уши вешает, будто ты шибко занят. Послушай, мил человек...

– Заткнись, – поднялся Шатунов.

– Не очень-то дружелюбно, ребята... Э, да вам никак подраться приспичило. Понимаю, от этой скучищи столовской и не такое втемяшется.

– Усохни, тебе было сказано!

Парень стоял между Шатуновым и Галайбой. Он резко шагнул в сторону, чтобы видеть обоих. И руки со сжатыми кулаками

были уже подняты к подбородку, а ноги грамотно расставлены. Шатунов не удержался от улыбки при виде правильной боксёрской стойки. Такой, собственно, жалкой здесь, сейчас...

– Ну, чего ты бутетенишься, кулачки выставляешь? Ну чего? И бить тебя никто не собирается. Только отсюда на своих двоих и без нашей помощи не выйдешь. Как там у дедушки Крылова? «Ты виноват уж тем...»

Галайба, сощурился, плотно сжав губы, медленно поднимая правую расслабленную руку, боком приближался к парню. Неожиданно тело его взвилось в воздух, вытянулось летящим копьём с широким плоским остриём ладони впереди.

Парень обмяк, не охнув. Ноги в коленях разом подломились. Он медленно сползал, глухо постукивая затылком на стыках полированных плит облицовки. Он даже не успел рухнуть на пол, как тот же Галайба подхватил его под мышки, Шатунов – за ноги.

Они отнесли его к себе, уложили на диван. Галайба распустил большой узел галстука, пястью приподнял безвольно откинутую голову. Теперь уже без всякой неприязни всмотрелся в спокойное лицо с закрытыми глазами.

– Не перегнул? – спросил Шатунов,

– Нет. Вырубал с торможением.

Галайба приподнял парня за плечи, обмякшие, как парное мясо. Покачал из стороны в сторону, отыскивая нужную позу. Подложил сзади, чуть выше лопаток, диванный валик. Руки теперь у него были свободны. Он помял горло под челюстью, рот парня приоткрылся, обнажив чистый здоровый зев. Взял протянутую Шатуновым бутылку. Осторожно капнул на розовый горбик языка. Парень шевельнулся. Исчезла тень ресниц, веки приподнялись. В глазах начало появляться сознание, но веки вдруг снова опустились.

– Гниды холуйские, – с трудом выдохнул он.

Шатунов отвернулся и только слушал, как размеренно булькает жидкость из бутылки.

– Всё, что ли, выливать?

– Не стоит. Масса у него хоть и приличная, да, похоже, из непьющих.

Галайба закончил, вытянул парня на диване. Затекущую, с разбухшими венами руку поднял, положил вдоль бедра. С минуту смотрел, как отливает у того кровь от губ и щёк, сказал:

– Отдыхай, северянин.

Он пересел к телефону, набрал номер.

– Савельева. Савельев, ты? – с облегчением выдохнул. – Привет. Угадал. Тут у нас для тебя товар есть. Немного перебрал, выступать начал... Да нет, точно тебе говорю. Ну, давай, ждём. Да поскорее.

Шатунов тем временем принёс из зала свёрток и чёрную папку.

– Никого там? – спросил Галайба, облизывая пересохшие губы.

– Никого.

Галайба достал документы из карманов пиджака, а Шатунов извлёк из папки бумаги. Все они относились к проектной документации: чертежи и технические описания узлов, графики расчётов напряжений стальных конструкций. Чисто математические расчёты балок, связей, опорных частей. Его вдруг заинтересовало превышение низа всей конструкции над отметкой межвенного горизонта воды. Продираясь сквозь выкладки и обоснования, он с досадой ловил себя на том, что логические цепочки то и дело обрывались, обрывались явно на пустяках.

– С какого он года?

Галайба протянул открытый паспорт.

– Года на четыре позже меня кончил, – пробормотал Шатунов.

– Что кончил? – не понял Галайба.

– Альма-матер. В одних стенах когда-то околачивались...

– Вон оно что, – Галайба покачал головой. – Да-а...

Стукнула дверь в конце коридора.

Послышались резкие, звонкие по кафелю шаги.

В комнату вошёл сержант.

– Привет, бояре.

– Привет, опричник.

Сержант подошёл к дивану. Чуть топыря в усмешке полные губы, долго смотрел на парня. Даже голову склонил к плечу.

– Приготовили в лучшем виде – ни синячка ни царапины. Кто проиграл?

– Не болтай ногами, Савельев. Поссориться с нами хочешь?

– Кстати, кофе, который заказывал, будет вечером.

– Ладно вам. Где живёт?

– Залётный.

– Всё не по подворотням тебе шастать. Готовенький. Для плана в самый раз...

– Теперь-то чего отмываться, – перебил сержант.

– Короче, – Галайба протянул сержанту документы. Подхватил парня под мышки, потянул с дивана: – Принимай.

– Здоров чёрт.

Шатунов и сержант держали за ноги.

Серая машина с глухим фургоном была уже подана задом, дверь распахнута.

Они втолкнули парня, захлопнули дверь.

– Да, – вспомнил Шатунов. Он побежал по коридору, вернулся с пакетом и папкой.

– Это его. Не потеряй, слышишь, Савельев? И деньги не трогай. Не забудь акт об экспертизе...

– Не суетись, наставник, – хмуро ответил Савельев уже из кабины.

Машина тронулась. И когда уже была под аркой, Галайба хлопнул себя по лбу, рассмеялся:

– А по счёту-то мы с него так и не получили!

– Не мелочись. Вечером отыграешься, – недовольно поморщился Шатунов.

Они вернулись к себе.

Шатунов устало опустился на диван.

– В сауну бы сейчас, к Митрофанычу... Отмыться бы...

– Глотни, – предложил Галайба, протягивая плоскую керамическую фляжку.

Старые фотографии

– Нет, – мотнул головой Шатунов. – Успеется.

– Ну, пойду. Пора уже, – поднялся Галайба.

Минут через десять в зал вышел и Шатунов.

Солнце теперь освещало едва-едва и лишь самый уголок стены с огромным панно из ковanej меди. Под самым потолком теплилась желтизна, похожая на отсвет керосиновой лампы. Наконец угасла и она.

Несколько посетителей уже сидели за столами.

Кто-то в дверях, приветствуя, махал рукой, звал:

– Валера! Шатунов!..

Галайба подчёркнуто невозмутимый, проходя мимо, шепнул:

– Обрати внимание во-он на те ножки. По «Плейбою» потянут на семь баллов...

Начиналась работа.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Алейников

Большая аллегория3

Ян Бруштейн

Мир Ольги16

Александр Редьков

Три свечи46

Илья Иослович

Там и тут125

Елена Литинская

Библиотека в моем гороскопе. Воспоминания137

Елена Крюкова

Старые фотографии167

Александр Гиневский

На клиента237

Приложение к журналу «День и ночь»
№2, 2013

Подготовка к печати: М.Наумова, Ю. Жукина
Оформление и вёрстка: Владислава Васильева

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения
«День и ночь»

Адрес редакции: Красноярск, ул.Ладо Кецховели, 75а, оф.103
Телефон редакции (391) 243 -06 – 38

Сдано в набор 26.11.13. Подписано в печать 4.12.13. Формат 60x84 ¹/₁₆
Усл. печ. л. 16,6. Бумага офсетная Тираж 500 экз. Заказ 11-203

Отпечатано в типографии «ЛИТЕРА-принт», ИП Азарова Н.Н.,
г. Красноярск, ул. Гладкова, 6, т. 2-950-340